



Владимир Викторович Орлов

Происшествие в Никольском (сборник)

*Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=181180
Происшествие в Никольском: АСТ, Астрель; Москва; 2006
ISBN 5-17-031977-0, 5-271-112431-2, 978-5-17-027814-5*

Аннотация

«Происшествие в Никольском». Одно из первых произведений в творчестве Владимира Орлова. Это роман о судьбе еще совсем юной героини, о драме, произошедшей в ее жизни, о первых надеждах и разочарованиях.

В сборник вошли также рассказы «Что-то зазвенело», «Трусаки» и «Субботники».

Содержание

Происшествие в Никольском	4
1	4
2	10
3	14
4	22
5	30
6	39
7	49
8	53
9	57
10	60
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Владимир Викторович Орлов

Происшествие в Никольском (Сборник)

Происшествие в Никольском

1

Ох и скучно по утрам в Никольском. Ей-богу. Ну что за наказание такое – все в сотый, да и не в сотый даже, а в стотысячный раз. Словно слушаешь петую-перепетую песню и каждая буква в той песне тебе знакома, каждый звук, каждая интонация старательного певца, даже все его придыхания выучены наизусть. Вот проревел он в волнении: «Туча смешала землю с небом», – стало быть, дальше уж, конечно, с угрозой пропоет насчет серого неба и белого снега, а ты кричи, уши затыкай чем под руку попадется, но от этого гремящего серого неба, от неумолимого песенного порядка никуда не денешься, да и куда деваться? Вот хлопнула калитка у Монаховых, – значит, сейчас услышишь, как продавец гастрономического отдела пристанционного магазина пройдет шагов пять, остановится и крикнет жене трезвым металлическим своим баритоном: «Колбасы граммов четыреста купи, докторской, и масла...» – и точно, крикнул, и Монахова ответила: «Ладно», будто микрофон у рта держала, и разошлись супруги, довольные, успокоенные, подтвердившие еще раз честному народу, что не жулики они, не уголовные элементы, общества не разоряют, а покупают снесь в поселковом гастрономе. А за Монаховым по дымящейся, прожаренной уже пыли Дементьевы прошагают, отец и сыновья, молчаливые, несущие себя с достоинством получивших звание, выбритые до лаковой синевы с помощью безопасной бритвы и пенящегося крема «Флорена». Словно готовые еще раз фотографу столичной газеты у ворот завода швейных машин позировать для снимка «А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло...». Прошли. Вере кивнули. Валяйте, валяйте, спешите, ударники! А за ними, а за ними шалопай Корзухин пронесется, камнем засадит в чей-нибудь священный огород, так, безобидно, ради шутки, или собаку мирную соседскую подразнит диким голосом, а той уж будет огорчительно слышать этот дикий, издевательский голос, потому что и так, без Корзухина, жарко. «Ну ладно, проваливай, чего руки тянешь! – скажет Вера Корзухину грозно. – Дурной! Контуженный, что ли? Как только таких токарями держат! В армию хоть бы взяли...» Пробежал Корзухин, пробежал никольский битл, концы красной рубахи узлом связавший на голом втянутом животе; в распаренный, голову дерущий запахом краски автобус влезет, как всегда, первый, да еще и место, кому надо, займет. И повалит весь поселок Никольский на работу, на службу, на рынок, в магазины, в больницы, в районные конторы, мастерить швейные машинки и мотоколяски для инвалидов, исписывать бумаги красными и синими чернилами, торговать ранними огурцами из ухоженных парников, да мало ли занятий вытягивает по утрам деятельных людей из Никольского, пустошат поселок, заставляют никольских локтями работать в автобусной очереди, кряхтеть в резиновой машине, а потом, через три километра, спешить в электричку, а уж электрички, электрички по Курской, по тесной и веселой железной дороге, развезут, растрясут никольских кого куда – кого в Москву, кого в районную столицу, кого в Серпухов, кого на сумасшедшую станцию Столбовую, а кого и в пряничную Тулу.

Вот и повалил поселок Никольский.

А ей, Вере, спешить некуда, день отгульный, сиди на крыльце, подставляй смуглое уже свое лицо солнцу да поглядывай на утреннее никольское шествие.

Идут, идут, кто торопится, а кто нет, кто с черным интеллигентным и деловым портфелем, а кто с дерюжными мешками, с сумой переметной, старики в штопаных рубашках и пиджаках с заплатами, по давней никольской традиции привыкшие надевать на работу и в баню что похуже, а то попортишь или сопрут еще. Молодые, напротив, в отглаженном да в модном, длинные и здоровые, переросшие на голову приземистых своих родителей, не знавшие бомбежек и щей из лебеды, щеголи, по мнению своих мамаш, добро беречь не научившиеся. Идут, идут, а их дом, Навашиных, самый что ни на есть обыкновенный никольский дом, не раздражающий соседей никакими особыми достоинствами, самое что ни на есть заурядное подмосковное жилище, неискусный гибрид избы и дачи, стоит на главной поселковой улице, и, стало быть, утреннее шествие тянется перед Вериными глазами, и люди, шагающие к автобусу, успевают поглядеть на нее. А так как она своя, никольская, не дачница, выложившая сто пятьдесят целковых за лето, и вот сидит на крыльце с книжкой в руках, и ничего не делает, и никуда не спешит, это, естественно, моментально вызывает чувство досады или непонимания.

– Во, расселась, коленки выставила...

– Вера Алексеевна, не желаете двинуть с нами на Силикатную?

Это Астанин, шофер, возит цемент с Силикатной.

– Как же, – говорит Вера певуче и закрытой книжкой отгоняет муху, – потом пыль из меня выбивать веником, да?

Уж так ответила, по привычке, чтобы отстал и шел дальше, могла бы и поостроумнее что-либо сообразить, но лень попрдержала язык, да и скучно.

И снова:

– Эй, Верка, ноги-то сгорят...

– Она подол обрезала напрочь...

– Привет, Верк! Гни свою линию, от этих-то уши отводи, а то вянуть начнут. Марья Ивановна с радостью паранджу бы надела...

– Пошли с нами. На Гривне нынче жакеты будут!

– И занятие-то себе нашла – не бей лежачего, да еще и сегодня загорает...

– Слабенькая! Ветер дунет – рассыплется!

– Валяйте, валяйте... Ну, еще чего?

Впрочем, слова летели в Верину сторону случайные и необидные, в Веру они не вцеплялись, а рассыпались в воздухе, и от них не надо было отмахиваться, как от обнаглевших июньских мух, не словленных еще липучей бумагой. Мужики и парни отпускали на ходу реплики скорее доброжелательные, им самим приятно было полюбезничать с навашинской девицей, такой смазливой и фигуристой не по летам. А женщины, даже если бы и пожелали Веру уязвить, хотя бы для того, чтобы досадить мужьям, сделать это все равно бы не решились, потому что шла в Никольском о Вере слава как о девке горластой и язвительной, к старшим не имеющей почтения, и связываться с ней – только давать повод ослабить, осрамить себя на весь поселок. Да и чего цепляться к ней? Девка как девка, красивая, работающая, сегодня сидит – так завтра со всеми будет нестись к автобусу, а что коленки выставляет, так и их дочки нынче не прячут колен. Срамота, конечно, но...

Прошли.

Ну вот еще последние суматошные пробежали.

Вера вздохнула.

Скучно. Ох и скучно же...

И утро все тянется, жаркое, нестерпимое никольское утро.

И ничего в это утро в поселке не произойдет интересного, не может произойти, да и не происходило никогда. Вот днем или вечером в Никольском происшествия еще могут случаться. И случались же! Случались! В послеобеденные часы или еще лучше – в вечер-

ние входит в жизнь поселка стихия. В новинку кое-что бывает, пусть не каждый день, но бывает, пусть раз в двадцать дней, но бывает все же, вечером в Никольском есть на что поглядеть, есть что послушать. На худой конец включишь телевизор, может, станут разучивать «хопель-попель» или начнут многосерийный фильм.

Но до вечера-то – жизни год! А сейчас такая в Никольском скучища! Наказание, ей-богу, наказание!

А чего ей-то, дура, сидеть без дела и глазеть на утреннюю никольскую жизнь? И слушать эту жизнь? А вот сидит. И с места не двигается. В ней ведь, в этой жизни, не только появления ненаглядных соседей на пыльном, с травой у канавок главном Никольском проспекте расписаны, но и все запахи, рыбные, колбасные, картофельные и прочие, известны заранее, и все звуки, пусть даже самые пустяковые, словно бы записаны на магнитофонной ленте, и лента эта от старости уже потрескивает, да похрипывает, да похрюкивает, но и не рвется. Вот застучали у пруда молотки, поначалу застучали старательно, а потом растерялись, спотыкаться стали, застеснялись опасной своей старательности. Реставраторы – в пруд бы их водяными забрали! – к работе приступили, чтобы тут же заняться перекурами. Или на левые дела разбрестись. А церковь жалко – ничего, она времен Ивана Грозного или каких других времен, всего ведь не упомнишь, мало ли чем им в седьмом классе забивали голову. Стучат работнички, старые леса чинят, не спешат, не усовестились, хоть бы мелодию своим молоткам придумали посвежее, нет, все, как вчера, как и позавчера, как и всегда.

Но если молотки у пруда застучали, стало быть, кончилось утро и начался трудовой день.

А все равно веселее не стало. Скучно. И не скучно, а того хуже – тоскливо.

Хоть бы Сергей скорее вернулся. Уж больно долго длится его командировка. Ставит он теперь столбы высоковольтные в Тульской области, под городом Чекалином. И что это за Чекалин такой? Сергей писал: назван так город, бывший Лихвин, в честь пятнадцатилетнего паренька, то ли он немцев в войну убивал, то ли они его убили. И зачем этому городу Чекалину, бывшему Лихвину, держать Сергея? Столбов, что ли, в нем не хватает?

И хотя Вера знала точно, что Сергей вернется домой не позднее чем через три дня, а то и через два дня, она все же сидела теперь и ругала бессовестный город Чекалин, отнявший у нее Сергея, упрятавший его в свою неизвестную жизнь на месяц, на три месяца, на полгода, сколько там им еще жить в разлуке!

– Верка, козу-то не вывела... Все тебе загорать!

– Да сейчас. Ну что ты со своей козой пристала? Ничего с этой Дылдой не делается...

– Матери так отвечаешь...

– Ну сейчас, – проворчала Вера.

Но в дом и во двор, к козе, она все же сразу не пошла, потому что ей хотелось думать о Сергее, просто повторять про себя его имя, вспоминать, какой он, какие у него волосы и какие руки, вспоминать, как он ласкал ее и как говорил ей: «Здравствуйте пожалуйста. Извините, что пришел». Тяжкими видались Вере последние ночи, и ведь уставала за день, а сон не шел, не шел – и все тут, так хотелось ей, чтобы Сергей был рядом, лежал рядом, так соскучилось по нему ее сильное, не девичье уже тело. И уж без поводов, а просто так, для собственной радости она рассказывала знакомым и случайным собеседникам, что есть у нее парень, вроде как муж, только для себя и говорила, потому что в Никольском все, наверное, давно знали, что они с Сергеем живут, да и мать если и не знала, то уж догадывалась.

– Верка! У-у, змея шелапутная...

– Ну ладно! – буркнула Вера. – И так тоскливо, а ты пристала!

– Идешь ты или не идешь?

– Ну иду, иду! Отстань ты, ради бога!

Босиком, книгу положив на ступеньки крыльца, Вера по утоптанной дорожке между вишнями и папировкой проскочила на задний двор, где перед грядами в хлеву не в хлеву, в сарае не в сарае жила коза. Стадо в Никольском было скудное, коров дюжина, овцы да козы, вечное мучение с пастухами, вытравило их время в Подмоскovie, как извозчиков, а те, что появлялись иногда и слаживали с никольскими, оказывались вскоре людьми несерьезными и пьяницами. Вот и теперь никольский скот сиротел без пастуха, и Вере приходилось выгонять козу на зелень. Лет десять назад, как и многие никольские, и они, Навашины, имели корову. После решили обойтись козой. Свиней откармливать не любили, к козам же, как и к картофельным огородам, выделенным возле железной дороги, они, да и все никольские, привыкли с военных времен. С козами и возиться не надо было много, и молоко шло у них пусть с привкусом, но жирное, а потом можно было пошить из их шкур и душегрейки. Правда, в войну и после нее все держали по несколько коз, теперь же оставили по одной, рассчитывали на магазины.

– Ну, Дылда, вставай, – Вера схватила козу за рог, – пошли. И так уж поздно выходим...

Коза поднималась медленно, пошла за Верой нехотя, не имела желаний из тени хлева, пахнувшего пометом и сеном, плестись куда-то по жаре. На дворе она спугнула кур, и те хоть и лениво, но заорали, закудахтали, к Веринуму удовольствию, – мать, наверное, услышала их и успокоилась. Не Верино было дело выгонять козу, росли у них в доме хозяйки и помоложе – Надька и Сонька, но мать чувствовала, что Вера нацелилась нынче со своей подругой Ниной Власовой податься в Москву – деньги транжирить без толку или приключений искать, и уж мать со вчерашнего вечера придумывала Вере занятия, чтоб та намоталась по хозяйству и отсидела отгул дома. «Ну пусть, пусть себя потешит, – думала Вера без зла, – время у меня еще есть» – и легоньким прутиком подбадривала козу. Короткий сарафан свой Вера надела на голое тело, и не таким злым было для нее солнце, а уже когда набегал ветерок, совсем приятно становилось коже. Жаль только, что улицы вымерли и никто не мог оценить этот чудесный сарафан, сшитый ею самолично на прошлой неделе из дешевенького штапеля с белыми звенящими цветами на голубом поле, оценить и ее самое, и ее плечи, и ее ноги, и ее колени, выше которых подол сарафана был сантиметров на десять. От досады Вера стукнула козу прутом покрепче: давай поспешай, не глазей по сторонам.

У пруда было уже много подростков и ребятишек помельче, они плавали в темной воде, играли на траве в мяч и карты. На берегу валялись брошенные велосипеды, а в зеленой низинке за холмиком лежали сытые соседские козы.

– Верка! Иди мяч кидать!

– Да ну! – отмахнулась Вера. – Некогда.

Козу она привязала к колышку, вбитому в землю на совесть, колышек был их, навашинский, низина делилась невидимыми границами на зоны влияния никольских владельцев коз, длиной веревок хозяева каждый день обеспечивали своим животным свежую траву. Но Дылда к зелени интереса не проявила, она тут же залегла за кочкой и морду уткнула в землю.

– Лежи, лежи, – сказала Вера, – только к петуховской козе не суйся. И веревку не заматывай. А то будешь орать! За молоком Сонька придет. И воду принесет. Поняла?

Растянувшаяся на земле коза казалась еще внушительнее и длиннее. «Эка вымахала, дубина, лучше б молока давала побольше. Впрочем, что это я ее извожу? – подумала Вера. – Она ведь неплохая коза, губы мягкие и добрые, морду ее приятно гладить, и в глазах есть соображение».

– Ну, если поняла, – сказала Вера, – то хорошо. Насчет веревки помни, Дылда.

Мать могла бы уже и отойти, время Вера ей дала, – так нет, все еще нервничала.

– Я тебе поеду!

– А то не поеду! – рассмеялась Вера.

– Вырастила себе на голову. Во кобыла какая! Я ж тебе мать!

– У меня выходной, могу я им распоряжаться или нет?
– Дома дел, что ли, нет? Деньги только на ветер... Я в твои годы каждую копейку считала.

– Может, они у вас дороже были!

– Пожила бы ты в наше время...

– Я-то в любое время проживу!

– На какую-нибудь пустую дрянь выкинешь!

– Это мое дело. Деньги сама заработала!

– Вот как? Деньги, значит, только твои? А я тебе не мать? И девчонки с голоду подыхать должны?..

– Кто это с голоду подыхает? – рассердилась Вера.

– Замолчи!

– Нет, кто это с голоду подыхать будет?

– Только о себе и думаешь, о матери не думаешь! Ты мне жизнью обязана... В отца пошла, в беспутного!.. Я всю кровушку, все соки из себя выжала, чтобы на ноги поднять ее, чтобы одеть, накормить, – и вот тебе благодарность в старости... В отца пошла, господи...

– В какой такой старости? Что ты прибедняешься? В старости! В сорок шесть лет – в старости!..

Вера была сердита, не жалкие слова о том, что она кому-то чем-то обязана, ну хотя бы и жизнью, хотя бы и здоровьем, и красотой своей, не эти слова разозлили ее, нет, а вот деньгами-то зачем попрекать, будто она бессовестно вытягивает их из черной семейной шка-тулки, будто не гробит себя, когда ее сверстницы все еще развлекаются в школах, или она такая маленькая, что не имеет права на самостоятельность?

– Знаешь что?.. – почти закричала Вера, но сдержалась. – У меня времени нет на всякие разговоры.

Повернулась резко, пошла в свою комнату, переодевалась с шумом, гремела лезшими под руку вещами так, чтобы мать слышала и чувствовала, как серьезна и грозна ее дочь. «У всех матери как матери, а мне повезло!» Настроение у Веры испортилось вконец, и теперь никольское утро представлялось ей не только тоскливым, но и жутким, и жить не хотелось, одна надежда оставалась на возвращение Сергея. «Вот уйду, вот уйду я к нему, – повторяла Вера, напяливая туфли, – вот уйду навсегда», хотя и знала, что никуда не уйдет, уйти не сможет, потому что ни один загс их с Сергеем не распишет.

– Эх, жизнь!

Одетая, принаряженная для московской публики, для московской толпы, для кипящих, счастливых магазинов, черную сумочку подхватив, губу нижнюю поджав, хотела пройти мимо матери, гордая и самостоятельная, матери не заметить, бровью накрашенной не пове-сти.

Нет, взглянула на нее, малодушная.

И встала.

– Начинается! Нет, ну что я тебе сделала такого, ну скажи, ну чем я тебя обидела?

Сумочку быстро положила на стол, бросилась к матери. Но не обняла ее, не прижала к себе, слов никаких не сказала горячих, а остановилась в шаге от матери, потому что мать сделала брезгливое движение, будто прикосновения дочери вытерпеть сейчас она не могла.

Мать была Вере ниже плеча, плакала рядом, сжавшаяся вся, груди-то у нее совсем нет, подумала Вера, высохла, совсем старушка, жалкая, простоволосая, несчастная. А она стояла рядом, разодетая, спелая да ухоженная, и так ей стало горько и стыдно, и такую любовь она ощутила к матери, что кинулась к ней, сжала ее, волосы принялась гладить. «Ну не надо, мамочка, родная, ну не надо, ну прости меня, ну успокойся, все хорошо будет, вот увидишь, вот увидишь...» Она повторяла эти слова, обещала хорошее впереди и сама не знала, что

хорошее, то ли то, что своей поездкой в Москву она мать не огорчит, то ли то, что вообще в жизни их семьи настанут счастливые времена, спокойные и веселые, настанут скоро, и, может, даже отец их вернется с Дальнего Востока, блудный отец явится с повинной.

– Не плачь, ну не надо, садись сюда, успокойся!.. Не поеду я, никуда не поеду. Ни в какую Москву не поеду! Вот сейчас переоденусь и Нине скажу, что не поеду...

И долго она так говорила, себя ругала за черствость и эгоизм, даже матери стало жалко ее, она принялась успокаивать Веру, называла сиротинушкой, вытирала слезы ее и, забыв прежние свои слова, советовала ей в Москву ехать сегодня же, а то Нина, наверное, ждет.

– Никуда я не поеду, – говорила Вера. – Зачем?..

Минут пятнадцать, а то и больше стояли они, успокаивая друг друга, жалея друг друга, мать говорила: «Иди, иди, Нина уж, верно, ждет тебя», а Вера твердила: «И не уговаривай, никуда я не поеду, не хочу я никуда ехать...»

И все же через полчаса, когда краснота сошла с лица и никому в автобусе и в голову не могло прийти, что эта рослая красивая девица недавно плакала, Вера уже ехала к станции и против желания прикидывала, на какую электричку она успеет, львовскую или серпуховскую, и сколько ждет ее рассердившаяся, наверное, Нина; впрочем, эти мелкие соображения казались ей кошунственными, и она отгоняла их и все повторяла себе, что в Москву она поехала только из-за матери, купит ей там что-нибудь ценное, купит непременно, все деньги истратит до копейки, себе на мороженое не оставит, ей перед матерью на коленях стоять, а она ей слезы приносит...

2

По платформе от скамейки к скамейке катался на велосипеде Колокольников.

Нины не было видно.

Львовская электричка прошла, а серпуховская должна была появиться через двадцать семь минут.

Ожидающих поезд было мало, и все они хоронились от солнца в тени болезненных пристанционных лип. Вера хоть и вспотела в автобусе, в сквер не пошла, она была жадной до солнца. Колокольников все катался по платформе, дурашливый все-таки малый, подумала Вера, хотя и красивый. Он бы сюда мог заехать и на грузовике, вон как веселится, вокруг всех столбов норовит объехать и объезжает их, виртуоз фигурного катания по асфальту, только перед кем старается, неизвестно. Нину Вера теперь ругала, называла ее беззаботной и готова была ее проучить за опоздание. Впрочем, может быть, Нина уже появлялась на станции, да ждать ей надоело, вот она и ушла домой или, того хлеще, уехала одна в Москву...

– Отстань ты от меня, змей подколотый, не дави мешок! Помоложе, что ль, нет, с кем играть... – взывала жалостливо бабка Творогова, пенсионерка шестидесяти шести лет, Первомайская улица, четырнадцать, или просто Творожиха, в любое время года снабжающая московских, подольских, чеховских и серпуховских жителей сырыми и калеными семечками, взывала, сидя на соседней скамейке, потому что Колокольников передним колесом попытался отодвинуть от ног бабки серый тугой мешок.

– Мотобол, знаешь, бабка, такая игра есть, – засмеялся Колокольников, – и еще пионербол...

– Васенька, мы же свои, никольские, я же старая, беспомощная...

– До чего ж ты, бабка, занудливая! – рассердился Колокольников и покатил дальше.

Скамейки и столбы он объезжал быстро и ловко, и Вера знала: если раньше он выкалывал себя неизвестно перед кем, то теперь старается ради нее.

– Вась, – сказала лениво Вера, – подружки моей тут не было?

– Не видал, – бросил на ходу Колокольников.

– Верочка, внученька, ты тоже, что ль, куда едешь? – сиропным голосом обратилась к ней Творожиха, и глаза у нее засветились счастьем. – Какая ты вся красивая да сдобная! Мать-то твоя счастливая – такую кралю высидела! Ты уж этому извергу на велосипеде скажи, чтоб не шалил, а?

– Не задавит, – сказала Вера, – это он так, шутит он.

– Шутит, шутит! – закивала бабка, будто бы обрадовавшись тому, что Колокольников с ней просто шутит.

Творожиху Вера не любила, приторные ее слова и заискивающие взгляды терпела с трудом и в другой день с удовольствием бы помогла Колокольникову поиздеваться над этой семечной предпринимательницей, что-нибудь выкинула бы озорное да ехидное, но нынче, после слов матери, после холодных и горячих ее слез, Вера, казалось ей, несла в себе чувство вины перед всеми старшими, она любила их, потому что мать была одной из них, и даже бабку Творогову она сейчас жалела.

– Ишь как гонит! – снова заволновалась бабка. – Ишь как! Прямо на меня! Прямо на мешки!

– Не задавит, – мирно сказала Вера.

И точно, не задавил, притормозив, замер у скамейки.

– Катаешься? – улыбнулась Вера.

– Ага, катаюсь, – сказал Колокольников.

– Делать, что ль, нечего?

- Нечего, – сказал Колокольников.
- Лучше бы стакан водички привез. Жарко!
- Еще ничего не желаешь?
- Съезди, будь человеком.
- Ну ладно, уговорила.

Небрежно, руки то и дело снимая с голубого руля, покати́л Колокольников по платформе, а потом по лоснящимся шпалам и по красноватой земле, перебрался через две московско-курских колеи и прямо на велосипеде, тонком да хрупком, казалось прогибающемся под его тяжелым, жилистым телом, прямо на легкой своей машине въехал в вокзальную дверь, а там уж, наверное, отправился к буфету.

– Ну и здоров, ну и ловок вымахал! – с радостью заговорила Творожиха, пересевшая со своими семечками на Верину скамейку. Радовалась она то ли вправду тому, что Колокольников, никольский житель, вымахал таким здоровым, то ли тому, что он уехал и не мог уже безобразничать с ее мешками.

А Колокольников, живший от Веры через три улицы, и верно, за последние годы сделался парнем необыкновенно сильным и рослым, образцовым покупателем магазина «Богатырь», расположенного у платформы Ржевская, за Крестовским мостом. Среди молодой поросли поселка Никольского, рождения конца сороковых годов и начала пятидесятых годов, по рассказам родителей несытых, Василий Колокольников считался фигурой заметной, и не потому, что в нем обнаружились особые таланты или интерес к наукам, – чего не было, того не было, – выделялся он именно своей силой, широченными плечами и бицепсами. Сила и создавала ему авторитет, и, хотя он редко применял ее, потому что был человеком добродушным, поселковые парни ее признали и хороводились вокруг Колокольникова. В атаманы Колокольников не рвался, но положение свое среди поселковой ребятни принимал, а потому и подражал сильным людям, вызывавшим его уважение. Поначалу повторял ягуарью походку Юла Бринера, кольты и смит-вессоны, казалось, торчали и покачивались за его широким великолепным ремнем, дядиным, армейским, но почти что ковбойским. А потом, через полгода, Колокольников окончательно влюбился в стокилограммового Рагулина, аж стонал, когда на чемпионате мира его кумир грудью принимал несущихся к нашим воротам на гибельной скорости раззадоренных канадцев и шведов и только улыбался, а рискованные парни в белых шлемах разбивались о его богатырскую грудь, падали кто на лед, а кто на борт с упоительным для Колокольникова треском. Колокольников тоже играл в хоккей и тоже в защите, старался получить у приятелей прозвище «Рагулин» и получил, ковбойская походка была забыта, ходил он теперь «как Рагулин», с небрежным и вроде бы ленивым выражением лица, плечи расправив, грудь намеренно выпятив и руки прямыми опустив к бедрам. Тонкими чертами лица он не был похож на флегматичного армейского гиганта, но обещал догнать его статью. Впрочем, Колокольников уважал еще и Старшинова и во время игр ремешок шлема по-старшиновски поднимал на подбородок, под нижнюю губу.

- Вот бы тебе его женихом, – расплылась в счастливой улыбке Творожиха.
- Каким еще женихом? – сказала Вера настороженно.
- И ладный, и здоровый, в технике учиться...
- Нужен мне такой жених!
- И свой ведь, на стороне-то еще неизвестно кого найдешь...
- Ну ладно, бабка, не суйся не в свое дело, – резко сказала Вера.

Вера вспомнила, что эта приторная Творожиха приходится Колокольникову дальней родственницей, неизвестно какой степени юродной, пятой водой на киселе, но родственницей, вовсе не способна была старуха на самостоятельные суждения и наверняка высказала сейчас отголосок слышанного в семье Колокольникова. Кроме того, она уж конечно, как и все никольские сплетницы, знала о ее, Вериной, любви с Сергеем, и потому нынешние слова

бабки иначе как наглыми назвать было нельзя. Вера и хотела поставить Творожиху на место, но тут открылась обитая рыжим дерматином вокзальная дверь и Колокольников выехал на размятый солнцем асфальт перрона. Левая его рука по-хозяйски держала руль, правая же самоуверенно, но и не без изящества несла полную кружку пива. Пена колыхалась, вываливалась мягкими кусками, таяла на асфальте.

– Разбавленное, – сказала Творожиха.

– Ох и надоела ты! – рассердилась Вера. – Сиди да помалкивай!

Старуха обиделась, отодвинулась даже, принялась ворчать, громко, но невнятно, и все же Вера смогла разобрать шипящие бабкины слова: «...шляется с голыми ногами, до грешного места задралась, тьфу, срамотища какая...»

– Сейчас ты у меня договоришься! – грозно пообещала Вера.

Замолкла Творожиха, негодующее шипение ее разом оборвалось, будто регулятор в радиоле остановил стертую корундовую иглу: знала ушлая никольская жительница, с кем следует связываться, а с кем нет. И все же не удержалась с разгону и, сама уже того не желая, пробормотала напоследок:

– Крапивой бы по этим местам...

И тут же испуганно заерзала на лавке, кончики черного вечного платка затеребила в ожидании кары, но, на ее счастье, подъехал Колокольников, привез кружку пива.

– Ну ладно, – сказала Вера Творожихе, принимая кружку, – мы к этому вопросу еще вернемся.

Пиво было теплое, разбавленное, кисловатое, не принесло облегчения.

– Верочка, внученька, – взмолилась Творожиха, – оставь плоточек.

– На, держи, – протянула ей кружку Вера.

– Пей, бабка, – сказал Колокольников, – но учти: пиво – опиум для народа.

– Спасибо, Вась. – Вера достала кошелек. – Сколько я тебе должна? Двадцать четыре копейки, что ли?

– Убери, – обиделся Колокольников. – Ты меня за человека не считаешь, да?

– Васенька, я молчу.

– Вот ведь люди пошли, – вздохнул Колокольников, – все на копейки мерят. А можно ли любовь копейками оценить?

– Чтой-то любовь у тебя такая кислая да жидкая?

– Какая-никакая, – сказал Колокольников.

– И за нее спасибо.

– Вечером к нам придешь?

Вечером дома у Колокольникова, отец и мать которого гостили у родственников в Люберцах, собирались Верины знакомые отметить день рождения бывшего ее соученика по никольской школе Лешеньки Турчкова.

– Не знаю, – сказала Вера. – Подумаем. Нет, мы, наверное, не успеем с Ниной вернуться.

– И Нина не вернется? – озаботился Колокольников.

– Ее, что ль, сейчас ждешь? – улыбнулась Вера.

– Ну ладно, – быстро сказал Колокольников, – кружку-то мне надо отвезти.

– А говоришь – любовь! – крикнула ему вдогонку Вера.

– Клянусь тебе – любовь! – подтвердил громко и торжественно Колокольников.

– Вася никогда не врет, – сказала Творожиха, – я его еще вот таким мальчиком помню...

– Помолчи. А когда электричка придет, садись в другой вагон. Поняла?

Творожиха, вздохнув, отодвинулась и драгоценный мешок притянула к себе.

– Слушай, Вер, приходите, а? – Колокольников стоял уже напротив, у вокзальной двери и просил Веру всерьез.

- Не успеем мы вернуться, Вась. Еще подарок надо искать, мороки-то...
- Вы без подарков! На кой черт ему подарки!
- Как же без подарков-то! – сказала Вера. – Нельзя.

«Ну, если без подарка, – подумала она, – тогда, может, еще и заглянем...» Тут и явилась Верина подруга Нина Власова, голову не повернув, прошагала к вокзальной двери, никого не замечая, но так, чтобы все ее заметили, прошагала летящей деловой походкой, рожденной любовью к полонезу и джайву, – года три Нина всерьез занималась в районной студии бального танца. Была она, как всегда, красивая, тонкая, с чуть полными икрами – они ее, впрочем, не портили, хотя и мешали носить высокие сапоги.

Минуты через две она уже подходила к Вере, молча шел за ней Колокольников, вел за собой велосипед, как ковбой присмирившего мустанга.

- Совесть у тебя есть? – спросила Вера.
- А что? – удивилась Нина.
- На какую электричку мы договорились?
- А разве не на эту?
- Может, на вечернюю?
- Нет, правда? Не на эту? Ну извини. Ну не сердись.
- Придете сегодня? – спросил Колокольников. – Нина Олеговна, я на вас очень надеюсь.

- Вряд ли мы придем, – сказала Вера.
- А что, у вас ко мне особый интерес? – спросила Нина.
- Ну, так... – смутился Колокольников.
- У тебя вроде на Силикатной интерес есть, а?
- В общем – как хотите, – нахмурился Колокольников и оседлал велосипед.
- У тебя, говорят, скоро там дети появятся, – сказала ему вдогонку Нина, сказала громко и внятно, чтобы ее слова разобрали и Колокольников, и притихшая Творожиха.

Во время разговора с Колокольниковым Нина стояла не просто так, а приняв позу, приобретенную все в той же студии бального танца: ноги чуть-чуть расставив, проявив крепкое бедро, – а худое Нинино лицо с чуть широким книзу носом, но все же не утиным, выражения своего не меняло, застыло как бы, в глазах Нининых чувств никаких не проявлялось, лишь ее длинные синие ресницы поднимались иногда, чтобы выказать удивление. Говорила Нина сейчас непривычно для местных жителей: старательно, четко, с идеальным московским произношением. Да и во всем ее облике, отполированном, обточенном, было нечто не здешнее, не никольское.

- Вечно ты меня подводишь, – сказала Вера.

Серым пятном на сверкающей стальной дороге в дальней серпуховской стороне возникла наконец электричка, разрослась, распухла, отодвинула от края платформы суетливых людей и уж затем остановилась на минуту, распахнула перед Ниной и Верой тугие двери.

3

На станции Царицыно, знаменитой своей крышей и четырехгранными, крашенными в белое фонарями каренинских времен, дверь распахнулась снова, и никольские подружки были вынуждены выпрыгивать на перрон, спасаясь от контролеров. Контролеры бежать за ними не собирались, только слова какие-то укоризненные говорили. Вера с Ниной остановились. Вера молчала, а Нина – высказывалась и показывала службистам язык, а потом и пальцем повертела возле виска. Уходящей электричке и контролерам она помахала изящной, нама- никюренной ручкой, но те-то уехали в Москву, а они вдвоем остались в Царицыне.

– Опять из-за тебя, – сказала Вера.

– Отчего ж из-за меня?

– Смотреть надо было, а не этому старику глазки строить.

– Сразу вдруг и старику!

Действительно, было дело, без всякой корысти и перспектив, а просто так, из уважения к себе и чтоб в дороге было не скучно, быстрыми взглядами Нина ответила на нескрываемый к ней интерес сидевшего напротив лысоватого джентльмена с московской, видимо, пропиской. Джентльмен был и вправду стар и нехорош, с рыхлым, бабьим лицом, и Нине он не понравился, хотя она и оценила его манеры и ладно сшитый костюм. Но теперь, после Вериного замечания, Нина обиделась за «своего» старика и готова была защищать его. Появление контролеров она действительно просмотрела, как, впрочем, просмотрела и Вера, и перебегать в соседний вагон было уже поздно. Контролеры попались плохие, предпенсионного возраста, обаяние юности не произвело на них никакого впечатления.

И это был редкий случай, потому что обычно контролеры отпускали их с миром или же позволяли убежать, а чаще просто делали вид, что не заметили двух смазливых «студенток». Билетов Нина и Вера не брали никогда, как они считали, из принципа, а вовсе не из желания обворовать государство. В детстве привыкли экономить на мороженое – впрочем, и сейчас отдавать рубль шесть копеек за билет в два конца было бы досадно.

– Фу-ты, жарко, – сказала Вера.

– Скупнемся, что ли?

В Царицыне они полагали выйти на обратной дороге, сунули на всякий случай в сумки купальники, но теперь до того расплавила, разморила их утренняя жара, что оставалось только поблагодарить контролеров и вытоптаннми в короткой, словно бы подстриженной, траве дорожками отправиться к прудам.

Берег, пологий, узкий, спускался от полотна железной дороги к темной, взбаламученной воде и, как ялтинский пляж, был усыпан коричневыми ленивыми и энергичными людьми. Раздевалок здесь так и не поставили; и теперь Нине и Вере надо было искать не общипанные пока кусты.

– Пригнись, пригнись же, дурочка, – зашептала испуганно Нина, – вот с этой стороны ветки жидкие, вон те сейчас на нас обернутся...

– Да пусть смотрят, что они, баб, что ли, не видели? – сказала Вера. – А мне с ними на собраниях не сидеть.

– Ты уж готова, ловкая какая, а я в этом своем японском застряла, прикрой меня, а?

– Давай быстрее, – засмеялась Вера и легонько, но со звуком шлепнула подругу по голой спине.

– Вот глупая, что ты делаешь? – затараторила Нина, пригнулась, сжалась вся, платье, как рыцарский щит, прижала к себе.

Через минуту Нина королевой пляжа в японском купальнике, приобретенном по случаю, пусть и с переплатой, по царицынской мягкой траве, как на помосте показа мод, двига-

лась к пруду, а потом и в нагретой воде, чуть разбрызгивая ее босыми ногами, продолжала свой путь вдоль берега, романтическая неземная особа, бегущая по волнам, ноги ее ступали неспешно и с грацией, худенькие плечи были развернуты, а голова на трепетной шее откинута назад. Вера шла шагах в пяти позади подруги, не отставала, но и не спешила, к Нининой бальной походке она привыкла, относилась к ней с иронией и снисходительностью взрослого человека, приученною житейскими заботами к практической простоте во всем, но в то же время и завидовала Нине, и, сама того не желая, подражала. И сейчас она шла и смотрела на подругу, знала, что в воду они полезут не сразу, а пройдутся еще по берегу – и других посмотрят, и себя покажут.

Хождения по царицынскому берегу подругам нравились, зрителей в жаркие дни набиралось много, и все они видели двух ловких, красивых девиц, и не каких-то никольских провинциальных растерях, а московских, чуть надменных, умеющих вести себя с достоинством, готовых в случае нужды пресечь ухмылки и приставания. Впрочем, даже если и слышали они лошадиные восторги в свой адрес или грубые предложения познакомиться, в ответ слов не тратили, а выразительными движениями губ и бровей давали понять, что они выше пляжной пошлости. Про себя при этом отмечали не без удовольствия: «Дураки, конечно, грубияны, а нас заметили, вкус имеют, значит, не конченные люди».

Но сегодня Вера не намеревалась тратить много времени на купание, о чем сказала подруге и, не выслушав ее возражений, пошла в воду. На зиму воду в пруду спускали, а теперь заполнили яму не до краев – к глубокому месту пришлось шагать долго. Вода была темная, теплая, пахла водорослями. Вера поплыла осторожно, чтобы не замочить лицо и волосы, по-лягушачьи, будто по-иному не умела, старалась не делать брызг.

– Нинка! Ну чего ты там жаришься?

Через минуту Нина уже плыла рядом, и удивительные синие ресницы ее изображали недоумение.

– Чего ты вдруг сорвалась? Ну не брызгай, не брызгай!

– Я и не брызгаю, отстань, плавай от меня подальше.

– Нет, обязательно надо спешить.

– Спешить, спешить! Ты хоть чувствуешь, как здесь здорово!

– Здорово, Верк, здорово! Вода прелесть какая, я помолодела на десять лет!

– А не на пятнадцать?

– Верочка, а вот почему, когда я плаваю, я думать ни о чем не могу?

– Отстань ты со своими глупостями. И не фыркай!

– Давай останемся, а? Не поедem в Москву? А?

Плавали подруги не напрягаясь, на одном месте, недалеко от берега, лицом к нему, так, чтобы все происходившее на земле заметить и в случае, если бы кто-нибудь заинтересовался их вещами, успеть выскочить из воды. По правде сказать, надо было им разделиться и купаться по очереди, но нынче они приглядели пожилую семейную пару, вызывавшую доверие, и попросили последить за их платьями, туфлями и сумочками. Какая была вода, жизнь делала сносной. «Счастливики, – думала Вера, – рождаются и живут у моря, вот скоплю денег и в августе вырвусь на юг, в Крым или под Сочи, завтра же сяду за пляжные платья и сарафаны, чтобы в сверкающем, безалаберном краю Никольское не опозорить». Но тут Вера вспомнила о матери.

– Вылезай. Поехали. Совесть надо знать.

В электричке они сидели молча и были сердиты, а жара плавил вагон.

– Таким манером только к вечеру и доедем, – сказала Вера.

– Что ты на меня шипишь, что ты злишься?

– Ничего, – сказала Вера резко. Потом смиростивилась: – Это я на себя злюсь. По одной причине.

Уже узкая и тихая Москва-река осталась позади, и пролетели гремящие, забытые составами пути люблинской сортировочной горки, и явились под окна белые и желтые дома Текстильщиков, и раскаленная, с пеклом коричневых корпусов «Серпа и молота», вставших у железной дороги, приняла электричку Застава Ильича.

– Времени-то не так уж много, – сказала Нина, но уже миролюбиво, – а там, на пляже, один парень, студент, рыжеватый такой, развитой, как культурист...

– Ну и что парень?

– Очень недурной парень, москвич, царицынские-то – они все теперь москвичи...

– Ну хорошо, ну москвич...

– Ну и ничего, – обиделась Нина. Потом сказала: – Уж совсем было мы с ним познакомились в прошлый раз. «Давно, говорит, я вами люблюсь». Мной... И тобой тоже.

– Невидаль какая. Где сходить-то будем – на Курской или на Каланчевке?

– На Курской. Там «Людмила» рядом. А на Каланчевке одни овощные ларьки.

На серой горбатой Курской площади, урезанной, ужатой ремонтными работами, была толчея, была давка, извинения и ругательства, плотное, утрамбованное движение народа во встречных потоках, тишайших, а потому и утомительных и для нетерпеливых москвичей, опаздывающих куда-то, и для транзитных людей, едущих в солнечные, фруктовые и виноградные края, измученных кассовыми хлопотами, столичными ритмами и звуками. А на берегах потоков было спокойствие, была работа, справа у забора стояли десятки южных людей в кепках-аэродромах, весельчаки и оптимисты, они зазывали кавалеров приобрести для своих красивых женщин кавказские пахучие розы. На другом берегу теснились такси, и хитроумные водители молча, но уж внимательно и по-хозяйски, горными орлами, высматривали подходящих клиентов, попростодушнее и попровинциальнее. Подруги наши были в московской толпе своими, действовали локтями и языком, энергично и быстро пересекли оба потока без ущерба для платьев и сумок. Идти им надо было влево, к большому дому, белому с зеленым, где и находился неплохой, с их точки зрения, магазин «Людмила».

– Этот дом кооперативный, – сказала Нина, – тут живут с телевидения, дикторы всякие, вот тот, который волосы нарастил, знаешь, и женщины...

– Ты уж мне рассказывала.

– Деньги у людей есть, – вздохнула Нина, не осуждая хозяев кооперативных квартир, а с сочувствием к самой себе.

– Девушки, здравствуйте, – сказал проходивший мимо модный молодой человек и, как показалось Вере, поклонился ей.

– Здравствуйте, здравствуйте, – ответили подруги.

– Это он кому? – шепотом спросила Нина, а сама как бы невзначай глаза скосила на молодого человека. – Мне или тебе?

– Тебе, наверно.

– Да нет, тебе. Знакомый твой? Верка, познакомь.

– Первый раз вижу. Это он на тебя глядел...

– Нет, на тебя, – расстроилась Нина. – На тебя все всегда в первую очередь внимание обращают...

Это было правдой, и Вера знала, что так оно и есть. Всегда, если они были с Ниной на людях, внимание парней, а уж пожилых мужчин тем более, привлекала она, Вера. Она это чувствовала, и Нина это чувствовала. Разумных объяснений этому Вера подыскать не могла, на Нину, с ее точки зрения, каждый прохожий должен был бы смотреть с восхищением – такая она вся ухоженная, стильная и ритмичная. Однако Нину по справедливости оценивали не сразу и не все, а она, Вера Алексеевна Навашина, вызывала тут же восклицательные знаки. «Яркая ты больно, – объясняла Нина, – у меня одни кости, а ты вон какая». И жестами показывала какая.

– А чего в «Людмиле» будем покупать?

– Ничего, – сказала Нина. – Зайдем просто так, для разгону. Кто же в первом магазине что-нибудь покупает?

Действительно, в «Людмиле» ничего они не купили, хотя там и было кое-что, и красивое, и фирменное, и недорогое. Позже они, естественно, жалели, что не купили ничего в «Людмиле», но сейчас выходили из стеклянного магазина спокойные, рассудив, что раз это торговое заведение расположено у вокзала, значит, первым делом в него бросаются суматошные приезжие люди.

Метро привезло подруг к ГУМу.

Вера звала идти в секции, где продавали шерстяные вещи и белье, а Нина тянула через переулок, к грампластинкам. Побывали у грампластинок, потолкались среди досужего люда, походили от одной секции к другой и к третьей, прислушивались к мелодиям – не брать же им Кобзона или Миансарову, – получили удовольствие от ритмов джайва и гоу-гоу, и уж потом Нина за рубль шестьдесят в блестящем супрафоновском конверте приобрела Матушку и Карела Готта. Верины секции оглядывали серьезнее и внимательнее. Вера все думала о матери, прикидывала, что бы практичнее и по ее вкусу купить – шерсти, что ли, на кофту, или саму кофту фабричной вязки, или белье, теплое, но такое, чтобы мать, непривычную к моде, не испугало. Однако же цены были для Вериных средств неподходящие, Вера нервничала, а Нина не понимала, почему на все ее слова Вера отвечает с раздражением.

– Ну ладно, пошли из этого ГУМа, – сказала Вера.

Пошли-то они пошли и все же не удержались и купили по паре клипсов с длинными подвесками, подешевле, и, проходя туннелем под Манежной площадью и Охотным рядом, радовались им, потому что клипсы и впрямь были удачные.

– Что-то мы с тобой один клипсы только и покупаем, – сказала Нина. – Словно уши зря кололи.

Прошлой осенью они ходили в районную поликлинику, хирург проколол им уши. А серьги они так и не носили.

В ЦУМе, душном, стесненном решительной реконструкцией, Нина заволновалась, как борзая, учуявшая за мокрым кустом зайца. И действительно, что-то несли.

Нина бросилась куда-то, исчезла на пять минут, растворилась в бурлящей суете готического магазина и потом вынырнула из-за колонны, из-за снежной бабы – продавщицы пломбира – и схватила Веру за руку:

– Пошли! Быстрее! Я заняла очередь! Они еще есть!

– Где? Что? – не поняла Вера, но вопросы она задавала зряшные, по инерции, а сама уже бежала за Ниной, волнуясь, как и подруга.

Нина притащила ее почему-то к фотоотделу, обрадовала женщин, стоявших в очереди: «А вот и мы!» Давали сумки, черные и коричневые, прямоугольные, с карманом, на длинном узком ремне, с двумя блестящими металлическими замками, кожаные, немецкие. Ах, какие это были сумки! Нина вытащила из своей несчастной, обреченной сумочки деньги и пересчитала их, хотя надо было еще выписать чек, а уж потом идти в кассу.

– Хватит, – сказала она и обернулась к Вере.

И, увидев Веру, она расстроилась и спросила испуганно:

– Ты тоже, что ль, хочешь такую?

– Ну а что же! – сказала Вера.

– Верк, ну зачем тебе-то! Это ведь не твой стиль...

– Ты так думаешь? – засомневалась Вера.

– Конечно! Ты прости, но смешно будет смотреть на тебя с такой сумкой. У тебя сила в другом. Я тебе как подруга советую. Ты же что-то другое хотела купить.

– Ты права, – сказала Вера.

Продавец, светловолосый парень лет девятнадцати, каждый новый чек выписывал морщась и покачивая раздосадованно головой. У него хватало терпения разъяснять покупателям, что сумки эти не какие-нибудь, а специальные, кофры, для фоторепортеров и фотолюбителей, знающие люди смеяться будут. Он и Нине сказал:

– Хотя вы-то каплю здравого смысла имеете? Или еще купите фотоувеличитель и привяжете к бедру?

Нина поглядела на него снисходительно и с жалостью.

– У меня дядя фоторепортер, – сказала Нина, – я ему в подарок.

– Ну, берите, берите, – махнул рукой продавец. – Я думал, хоть вы с соображением.

На эти слова продавца Нина не ответила: что он о ней думает, ее не волновало, а волновало, какую сумку брать – черную или коричневую. Она уж и ту и другую устраивала и на левом плече, и на правом, крутилась с обеими сумками перед Верой, раздражая очередь и продавца, и следы столкновений больших страстей отражались на Нинином лице. Наконец она сделала выбор, со страдальческим выражением глаз сказала: «Черную», однако на полдороге к кассе она воскликнула: «Ах, что я, дура, наделала!» – побежала к прилавку и зашептала: «Коричневую, будьте добры, коричневую...»

Она и потом изводила Веру своими сомнениями, все корила себя за глупость: «Надо было черную, а теперь не обменяешь, все разберут» – и заглядывала в Верины глаза, выпрашивала у нее слова, которые подтвердили бы правильность ее выбора.

– Брось ты причитать, – сказала наконец Вера, – купила и купила. Этот цвет лучше.

Сомнения были отброшены, яркие перспективы, связанные с сумкой на длинном ремне, открывались перед Ниной.

– Нет, здорово, здорово! – сказала Нина. – А?

– Что «а»? – спросила Вера.

– Как что? Я про сумку. А ты меня не слушаешь, да? Ты расстроилась, что ли? Ты на меня обиделась?

– С чего мне обижаться-то?

– Нет, серьезно, эта сумка тебе не к лицу. У тебя же другой стиль, я правду говорю.

– Ну и хорошо, – сказала Вера, – и кончим о сумке.

Словами этими она призывала подругу к неносильному подвигу, и та, поколебавшись, замолчала, потому что чувствовала Верино раздражение. Нина и сама страдала теперь оттого, что расстроила подругу, но не сосуществовать же в Никольском двум одинаковым сумкам. Вера думала о приобретении подруги с завистью, к тому же ее обидели слова: «Сумка тебе не к лицу», – почему вдруг не к лицу? – но тут она снова вспомнила о матери, о своих сегодняшних намерениях и сказала резко:

– Нужна мне такая сумка! Мне матери что-нибудь купить надо, поняла?

– С чего ты вдруг? Именины, что ли?

– Не именины. Просто так. Просто жалко мне ее стало.

Нина посмотрела на подругу с удивлением, но потом вроде бы все поняла, ни о чем не спросила, а принялись они обсуждать, что Вериней матери купить и в какие магазины зайти, – может, отправиться на ярмарку в Лужники?

– И мне-то, – вздохнула Нина, – зазря бы денег не тратить, а маме...

И тут они богатым, сверкающим боками Столешниковым переулком вышли на улицу Горького.

Как хорошо, как празднично было на Горького, как любила эту улицу Вера, утренние никольские страдания забылись, и жизнь не казалась тоскливой, и если бы вспомнила Вера о своих мыслях на крыльце родного дома, наверное, посмеялась бы сейчас над собой. Но до воспоминаний ли было! Толпа двигалась великолепная, разодетая, уважающая себя, не

то что у Курского вокзала или ГУМа. Конечно, и тут спешили, но больше прогуливались. И все были одетые по моде, и отличить нашего от иностранца не было никакой возможности.

– Зимой еще своих заметишь, – сказала Нина, – а летом – нет.

А уж речь на улице звучала такая разная, наверное, и французская, и арабская, и индийская, и испанская, и всякая; впрочем, какая именно – определить Вера не могла, знала только по-английски несколько выражений из учебника пятого класса и песен битлов, но все говорили вокруг удивительно интересно и красиво.

– Смотри-ка, Верка, смотри...

– Чего ты?

– Да не туда... Тихонов! Вон!

Прямо на них шел Тихонов. Вера на секунду остановилась, рот открыла от удивления и восторга, но тут же пошла за подругой, поджав губы.

– Я думала, он красивее, – сказала она, – и ростом выше.

– Ничего, ничего, – прошептала Нина, – все равно красивый.

– И с ним идут какие-то все невзрачные...

– Ну брось ты!

Нина стояла на своем, а Вера пожимала плечами. «Подумаешь!» – ворчала она, а все равно несколько раз оборачивалась, и смотрела в спину Тихонову, и понимала, что вечером в Никольском она будет рассказывать знакомым девчонкам и парням, как попался им навстречу сам Тихонов, понимала и то, что рассказы эти доставят ей удовольствие. И еще она чувствовала себя в этой великолепной разноязычной толпе своей, со всеми равной – и со знаменитым артистом, чьи фотографии вымаливали они в ларьках «Союзпечати», равной и вот с этой заграничной тонконогой дамой в замше – равной, а может, еще и повальяжнее ее. «Смотри-ка, – толкнула ее в бок Нина, – какой фасон!» И правда, плыло перед ними пятнистое короткое платье, ловко так приталенное и расклешенное внизу необыкновенным способом. Нина вся напряглась, нервно извлекла из сумки блокнот и карандаш, на ходу принялась зарисовывать фасон, норовила женщину в удивительном платье обойти, взглянуть на нее сбоку и спереди, а Вера не спешила, шла с достоинством я думала: «Ну и что, и впрямь хорошее платье, ну и что, и мы такое сшить можем, и даже еще лучше. Да и сейчас мы никого не хуже. Вон и на нас смотрят...» Кое-какие мужчины и парни и в самом деле обращали внимание на них с Ниной, и от этого прогулка по улице Горького Вере все больше нравилась, и было ей хорошо и празднично.

– Все, – сказала Нина, – завтра же начну кроить. У меня приличный материал. Только посветлее этого.

– С цветами, что ли?

– Ну да, с такими размытыми... Пошли в туннель... Заскочим в рыбный? Я уж проголодалась.

В переходе она все посматривала в блокнот и шептала что-то – может, прикидывала, хватит ей отреза или нет. Рыбный магазин, самый знаменитый в столице и самый богатый, с довоенным аквариумом в витрине и с декоративными горками консервных банок, вытеснившими осетров из папье-маше, встретил их запахом селедки и шумом очередей. В последнем зале очереди были за рижской салакой горячего копчения.

– Ну, повезло! Скажи? – обрадовалась Вера.

– Ты – в кассу, а я – к прилавку, – сообразила Нина, – и поесть возьмем, и домой. Как чек выбьешь, в Филипповскую сходи, будь доброй, булку возьми посвежее, страсть как голодно.

Всегда она подчинялась Вере, а в очередях была решительнее и предприимчивее подруги.

Копчушкой и филипповскими булками наслаждались во дворе за магазином рыбы.

– Мое железное правило, – говорила Нина, отрывая салаке голову, – сколько б денег ни было, а на хорошую рыбу не жалеть. А уж если севрюга попадется, или семга, или лосось – ничего жалеть не буду...

Дальше они жевали молча, ели много и жадно, и хотя прошел момент первого удовлетворения пищей, все равно какой, а тут – копченой салакой, удовлетворения судорожного и блаженного, хотя сытость и принесла, как всегда, разочарование, настроение у Веры не ухудшилось и сонное благодушие не размягчило ее.

– Хорошо, – протянула Вера.

– Хорошо, – поддержала ее Нина. – И я тут должна жить... Может, в этом самом доме... Нет, не в этом. У Покровских ворот.

Следом могли пойти всегдашние Нинины сетования о несправедливом со стороны судьбы поселении ее, Нины, в пригородном поселке Никольском. Вера пропустила бы ее слова мимо ушей по привычке, но Нина на этот раз промолчала. После гражданской Нинин дед, чей род, по семейным преданиям, не один век на плечах держал Москву, в голодный год вместе с Нининой бабушкой бросился искать хлебные деревни. Потом пришел нэп, а дед с бабушкой так и не вернулись в Москву, не смогли или не захотели, осели в Никольском, в сорока верстах от столицы. Покойного деда Нина иногда ругала, работать устроилась ученицей в парикмахерскую у Каланчевки, собиралась в Москве стать дамским мастером и не раз говорила Вере, что замуж выйдет непременно за москвича. А если даже и не выйдет, то все равно переберется в Москву, как – посмотрим. В компаниях парней она тут же выделяла именно москвичей, они сейчас же нравились ей больше других, и дело тут было не в лисьем расчете, просто так получалось само собой, словно бы Нина в людях с городской пропиской открывала родственные души.

– Нет, Верочка, не зря мы с тобой сюда приехали, – заговорила Нина. – Ради одной этой рыбы стоило! Не жалеешь? Ведь хорошо, да?

– Хорошо, – сказала Вера.

Для продолжения сегодняшних удовольствий они заглянули в соседний сладкий магазин, насмотрелись на фантазии кондитеров, а потом двинулись в «Армению», отведали восточных лакомств подешевле, запили благословенную рыбу газированной водой и пошли в Елисеевский. Там они просто потолкались, как в театре или музее, посмотрели на люстры, похожие на салютные грозди ракет, на великолепие сверкающей в огнях лепнины и звенящих зеркал. Дальнейшее их движение по улице Горького было путаным и долгим. Вера с Ниной заходили в магазины, потом возвращались на несколько кварталов назад, в магазин, ими пропущенный, потом опять спускались к Советской площади и ниже, а изучив «Подарки», вспоминали, что они проскочили «Синтетику», и спешили в «Синтетику». Движение их вовсе не было нелогичным, оно подчинялось стихии нынешнего праздничного похода и своей безалаберностью именно и приносило им удовольствие. Выйдя из «Синтетики», Вера с Ниной ринулись в отделанную по последней моде «Березку». Витрины «Березки» были громадны, пугали и притягивали роскошью, пламенем и холодом драгоценных камней, легкой игрой цен, недоступных, а потому и ничего не значащих. В магазине этом подруги ничего не собирались купить, их фантазию не связывали расчеты и реальные возможности, а потому они владели здесь всем и все могли примерить на себе в мыслях. Ах, какие тут были камни, какие браслеты и кулоны, какие ожерелья из янтаря и какие кольца с рубинами на золотых цепочках! «Видала, Нин? А это видала? Блеск!» Словно бы брожение происходило в тесноте сверкающего магазина, и Вера с Ниной вместе с другими кидались от прилавка к прилавку, все замечая, все выщупывая глазами, холодея от восторга, пропуская витрины с расплывшимися часами, небрежно и свысока поглядывая на длинную очередь конченных людей – давали обручальные кольца. Глаза их горели, спорили с дорогими камнями, азарт захватил подруг. Остановиться они теперь уже не могли, все осмотрели в соседних магазинах, а потом

втиснулись, ворвались, стекло в дверном проходе чуть не выжав, в актерскую лавку у Пушкинской площади.

Магазин был маленький, забитый, лишь к прилавкам с книгами и текстами пьес можно было подойти без борьбы, а напротив жалась шумная толпа, и теснились в ней охотницы, отчаянные, настырные, азартные, с Верой и Ниной одной породы. Духота томила продавщиц, большие лопаукие вентиляторы гоняли по магазину подогретый воздух. Не сразу, с терпением и упорством, подруги протиснулись вперед. Чего только не лежало перед ними: и цветные поролоновые куклы, и круглые блески в целлофановых пакетах, и тапочки для воздушных ног балерин, и металлические стаканчики с помадой всех оттенков, и баночки, коробочки, тюбики с пудрой, тонами, кремами, лаками, тушью, мастикой для ресниц, и прочие удивительные вещи, любезные душе, видеть которые – одно удовольствие, и уж уйти от них не было никакой мочи. Нина так и стояла, с места не двигаясь, принимая решение, а Вера уже вцепилась глазами в темно-коричневые шкафы, похожие на аптекарские, с медными накладными украшениями, за стеклами которых лежали парики. Парики были один краше другого, для королей и их фрейлин, пышные и прямые, с буклями и башнями-пучками, розовые, рыжие, зеленоватые, золотистые, черные – немыслимые. У Веры в горле пересохло. Она не могла произнести ни слова, а все глядела теперь на тридцатилетнюю женщину, актрису наверное, примеривающую парик. Как прекрасна была женщина! Естественно – из-за парика! Это был из всех париков парик. Лиловый и фиолетовый одновременно, и вместе с тем в нем были явно заметны серый, стальной оттенок и золотистый тоже. Форму он имел необыкновенную, словно бы многоярусную, женщина выглядела в нем благородной дамой из окружения Екатерины. Вера ее сейчас же возненавидела. Она готова была закричать: «Отдайте парик! Вы не имеете на него права! Он – мой!» Женщина осматривала себя в парике деловито, не было в ней трепета и азарта, и это Веру ужасно возмущало, женщина сняла парик и положила его на прилавок. Вера похолодела. «Сколько он стоит?» – спросила женщина. «Восемнадцать». – «Нет, не подойдет...»

– Я возьму, – подалась вперед Вера. – Я сейчас. Чек выбью...

– Подождите, – сказала продавщица. – Вы сначала примерьте. Может, размер не ваш...

«Мой!» – хотела крикнуть Вера, но не крикнула, а произнесла что-то невнятно, протянула руки за париком, пальцы ее дрожали; надевая парик, она понимала, что все смотрят на нее, ждала усмешек, ждала вопроса: «Зачем он вам?», готова была в ответ сказать, что ей в народном театре поручили роль... господи, чью роль, из восемнадцатого века, кажется, но чью? А-а! Все равно парик будет ее, его теперь не отберешь и с милицией, и насмешки не испугают, парик ее – и все тут. Но никто не смеялся, и продавщица ни о чем не спросила, сказала скучно: «Ваш размер. Вам идет», – и Вера, выдохнув воздух, кинулась в расступившейся толпе к кассе, бросила на черную тарелку со вмятиной восемнадцать рублей.

4

– Ну что, пойдём на день рождения? – спросила Вера.

За окном электрички проносились дома и дачи Битцы и на пологих холмах гомеопатические плантации института лекарственных растений.

– Не тянет, – сказала Нина.

– Вечером-то делать нечего.

– Ты же сама утром не хотела.

– Настроение появилось. Пошли?

– Посмотрим, – уклончиво сказала Нина.

Была она вялой, уставшей, на Веру не смотрела, словно обиделась на нее всерьёз и надолго. К смене Нининых настроений Вера привыкла, сколько раз уж наблюдала, как бойкая, предприимчивая, озороватая девчонка в минуту становилась нервной и капризной, готовой заплакать, а то и плакавшей на самом деле. «Эва, кровь в ней как бунтует!» – говорили в Никольском. И сейчас Нина нервничала и злилась на что-то. По дороге домой Веру она раздражала – и прежде всего потому, что Вера не могла уяснить причину Нининого преображения.

«Из-за парика, что ли? – думала Вера. – Неужто из-за парика?..»

Возбужденная, счастливая неслась она час назад по улице Горького, удивленная, спешила за ней Нина, смеялась и говорила: «Ты что? Вот выкинула! Зачем тебе парик-то, да еще таких древних времен! Я понимаю – настоящий парик. А то – театральный! Деньги, что ли, девать некуда?» – «Отстань! – отвечала ей Вера, впрочем, не особенно сердито. – Душу не трави. Купила и купила. Захотела и купила». Никаких объяснений она не могла дать Нине и себе тоже, действительно, желание приобрести парик было таким неожиданным и нестерпимым, что в актерском магазине все соображения здравого смысла исчезли из Вериней головы. Но пока, на улице, Вера не жалела о своей покупке. Коричневая сумка висела на тонком ремне, стучала по крепкому Нининому бедру, напоминая Вере, на что стоит тратить деньги, на что не стоит, а Вера все шагала, несла осторожно мягкий пакет и думала: «Дома примерим. Может, и пригодится...»

Но долго вытерпеть душевное томление и Нинины колкости она не смогла, увидев буквы общественного туалета, спустилась по лестнице, казавшейся вечной, заняла кабину и там, спеша, но и бережно, надела парик, нетерпеливыми пальцами нашла в сумке пухлую кожаную пудреницу, взглянула в ее зеркальце и губами причмокнула от удивления: «А что? Ничего!» Фантастическая прекрасная женщина с сединой в лиловых локонах отражалась в овале походного зеркала. Зашумела вода в соседней кабине, но шум ее и вся обстановка примерки не разрушили Вериного вдохновения, она все поворачивала голову, смотрелась в зеркало, позы принимала и радовалась себе: «Ничего, ничего...» Заскреблась в дверь Нина, зашептала: «Вера, что ты так долго?» – «Примериваю...» – «Пусти меня, – взмолилась Нина, – пусти поглядеть». Дернула Вера задвижку, впустила подругу, и та заахала в тесноте кабины: «Как здорово! Какая ты красивая!» – «Нет, правда?» – волнуясь, спрашивала Вера. «Ты просто преобразилась. Как Иван-дурачок в горячем молоке. Зачем мне врать-то!»

То, что она восхищалась ею искренне, Вера поняла позже, на улице, выражение лица у Нины стало растерянным, если не расстроенным, покупку Верину она больше не хвалила и словно бы сникла, лишь однажды сказала с жалостью к самой себе: «Везет тебе, Верка, вон мать тебя какой родила. Новое наденешь – и каждый раз на себя не похожая, а красивая. А я...» Вера попыталась ее переубедить и уверить, что она, Нина, и без всяких париков хороша и ей нечего расстраиваться. После торопливых смотрин в туалете покупка уже не казалась Вере безрассудной, она и не смогла бы приобрести ничего лучшего, – надо же, как к лицу

оказался ей парик. Она и в электричке все радовалась про себя своей покупке, а поделиться радостью с подругой не отваживалась – та сидела мрачная. Районный город сверкнул над узкой и смиренной рекой, белой колокольней, и тут Нина сказала:

– А насчет матери-то забыла? Все матери вещь купить хотела...

В иной день Вера обиделась бы и сразу поставила Нину на место, а сейчас была настроена благодушно.

– В следующий раз куплю, – сказала Вера.

Себя она уверила в том, что матери, уж точно, хорошую вещь купит в следующий раз и подороже, накопит денег и купит обязательно, без суеты и со смыслом. Вера не чувствовала никаких угрызений совести: ну мало ли чего она собиралась делать утром, после слез матери, сгоряча, конечно, надо относиться к матери повнимательнее, но глупо было бы упустить такой замечательный парик. Сама судьба привела ее в актерскую лавку и не дала потратить деньги в других магазинах, а от судьбы не убежишь и не отвернешься. Никольской платформы Вера ждала волнуясь, ей не терпелось показать себя в парике на людях. Вера теперь желала появиться в клубе, на танцах, или же у Колокольникова, на дне рождения Лешеньки Турчкова, но одной идти не хотелось.

– Нин, а сумку ты вправду купила завидную, – сказала она на всякий случай, – не то что я...

Словами этими Вера ничего не добила. Нина промолчала, на сумку, правда, взглянула, но скорее машинально, а взглянув, вздохнула.

Электричка наконец привезла их в Никольское.

– Нин, пойдем на день рождения-то или как? – сказала Вера на автобусной остановке, одергивая платье, и было заискивание в ее голосе. – Ждут ведь. Колокольников-то именно тебя звал...

– Нет, – сказала Нина, – не пойду.

– Может, тогда на танцы? Чего дома-то кукукаться? И по телевизору, кроме оперы, ничего нет...

– Не знаю... Если на танцы... Подумаю...

– Пойдем, пойдем, Нинк, на танцы! – обрадовалась Вера. – Я сейчас, мигом, домой, матери покажусь, перекушу – и в клуб... Где встретимся и когда?

– В восемь, на нашем месте, – сказала Нина неожиданно твердо, в лице Нинином, в глазах ее была твердость, будто она что-то задумала.

К дому Вера подходила в некотором смущении. Надо было показаться матери, чтобы не беспокоилась, но лучше бы ее не было дома. Ее и не оказалось дома. Соня хозяйничала, а Надька бегала во дворе.

– Мать где? – спросила Вера.

– Она сегодня в кассе.

Мать работала на крохотной никольской пуговичной фабрике, давила теплую пластмассу прессом, а для поддержания семейного бюджета стирала на соседей побогаче и иногда, в дни кино и танцев, подменяла тетку Сурнину в кассе клуба. Значит, можно будет отметить перед матерью в клубе, а потом и проскочить на танцы без билета.

– Чего ели? – спросила Вера.

– Гороховый суп и котлеты с картошкой, – сказала Соня. – Хочешь?

– Давай.

Обжигаясь, торопясь, Вера все же сказала наставительно, на правах старшей сестры:

– Небось весь день бездельничали, болтались с сестрицей-то? Матери помогали? Козу доили?

– Доили, – сказала Соня мирно, но и вроде бы с иронией к старшей сестре.

Сидела она тихо, пальчиком почесывала черную расцарапанную коленку, платье на ней было выгоревшее, дрянное, латаное, а глядела она на Веру спокойно и устало, светло, по-матерински, схожести выражений лиц их Вера удивилась, и ей стало жалко Соню: такая же она росла терпеливая и безропотная, как мать, неужели ей и судьба уготована материна?

– Суп ничего, – сказала Вера. – Ты, что ли, варила? Хороший суп. В следующий раз только перцу положи побольше. И свиные ножки не помешали бы.

– Откуда ж у нас свиные ножки? – улыбнулась Соня.

– Это я так... фантазии... А для духу стоило хоть кусочек корейки добавить... Давай котлеты... Ничего, вы, Софья Алексеевна, делаете успехи в кулинарии... Я тут вам всем копчушки привезла. Но до матери не трогать, поняла?

Соня кивнула.

Время бежало к восьми, а духота не отпускала. Вера встала, сказав сестре «спасибо», ноги ее побаливали от долгих и везучих московских хождений. Прошла в свою комнату и плотно прикрыла за собой дверь. Показываться Соне в парике она не хотела, не потому, что стеснялась – вдруг будет смеяться, – просто знала: попку Соня осудит, как мать, и расстроится тихо, про себя. Зеркало снова обрадовало Веру, снова взволновало ее предчувствие успеха на людях, может, даже и со скандалом, ну и пусть, нетерпение снова поселилось в ней. «Скорее, скорее!» – говорила она себе. Платье не следовало бы менять, но Вера уступила желанию увидеть себя и в других нарядах, она ловко надевала перед зеркалом платья, сарафаны и кофточки, приличные и ношенные, и все ей шло, и все приносило удовольствие, и даже опостылевшие вещи были сегодня прощены. Из комнаты своей Вера вышла в красном платье, узком и коротком, чуть не танцуя, парик несла в пакете. Сказала Соне голосом старшей сестры:

– Остаешься за начальство. Ясно?

Соня мыла на террасе посуду, ничего не ответила и ни о чем не спросила, хотя могла о чем-нибудь и спросить, зато в кухне, служившей в будние дни и столовой, уже вертелась семилетняя Надька, наглая, в отца. На ее скачущие вопросы: «А где ты была? А чего ты себе купила? А чего ты мне купила?» – пришлось отвечать решительно и строго. «Палец вынь изо рта и щеки вымой в рукомойнике! – сказала наконец Вера. – На кого похожа!» Считалось в Никольском, что Вера и Надька пошли в отца, а Соня – в мать. Надькино смазливое личико, озороватый прищур глаз и даже движения головы на тонкой, петушиной шее и вправду напоминали об отце. «Неужели и я такая? – думала Вера. – Нет, я не такая». Когда она смотрела на Надьку, ей не хотелось быть похожей на отца, ей казалось, что она и впрямь на него не очень похожа, что она и в движениях мягче и ленивее Надьки, и шея у нее не такая петушиная, и нет в глазах навашинской бесстыжности.

– Пригляди за этой отравой. И за домом, – сказала Вера Соне, той все же было двенадцать.

Нина уже ждала в привычном месте.

– Опаздываешь, – сказала Нина строго.

– Подумаешь, пять минут.

– Семнадцать минут.

Вера поглядела на нее с удивлением. Стало быть, подруга не отошла? Губы Нина сжала, а взгляд у нее был тяжелый, такой, словно она после колебаний и мучений решила на отчаянный шаг и изменить ее решение нельзя было никакими силами. Вера ожидала увидеть на Нине особенное платье, подобранное специально к купленной нынче сумке, а на плече и самое сумку, но ее не было, и это Веру насторожило.

– Не надумала после танцев пойти к Колокольникову? – спросила Вера на всякий случай.

– Я и на танцы не пойду, – сказала Нина.

- Что так?
- Мне нужно с тобой поговорить.
- Ну поговори...
- Не здесь. Пошли за угол.
- Ну пошли. – Вера пожала плечами.

За углом глухие крашенные заборы четырех хозяев образовали тупик. Вера несла пакет с париком осторожно, он сейчас смущал ее, будто она держала в руке пирожное и боялась смазать крем.

- Здесь, – сказала Нина.
- Здесь так здесь.
- Если ты мне подруга, – сказала Нина, и голос ее был уже не так тверд, как прежде, – если ты мне настоящая подруга, отдай мне Сергея.
- Вот тебе раз...
- Он мне нравится.
- А я с ним живу...
- Кто тебя познакомил с Сергеем? За кем он ухаживал сначала? Ты у меня его отбила!
- Прямо уж и отбила...
- Будь хоть раз в жизни честной!
- Что ты говоришь! – Вера начинала сердиться, поначалу слова Нины не только удивили, но и рассмешили Веру, теперь ей уже было не до шуток, и все же она до конца не могла поверить в серьезность Нининых заявлений, чувство, что подруга разыгрывает ее, не уходило.

– Зачем тебе Сергей? Ну зачем? – сказала Нина, глаза ее были влажные. – Каждый парень на тебя смотрит, а я... Ну хоть пожалей меня, если ты подруга, ну забудь о Сергее!

- Пошла ты знаешь куда! – зло сказала Вера.

Теперь она злилась всерьез, никакого разговора дальше вести не была намерена, хороши шутки, даже если Нина расстроилась умом, терпеть ее слова Вера не хотела и не могла, трудно было вывести ее из себя, редко это кому удавалось, а тут, не стой перед ней подруга, помешавшаяся или в ясном уме, попробуй разбери, не стой перед ней подруга, ударила бы Вера обидчицу по физиономии. Молча Вера повернулась и пошла в клуб, но Нина догнала ее, схватила за руку. «Ах так, ты и разговаривать со мной не хочешь!» – «Не хочу, – сказала Вера и отвела руку, – нечего мне о глупостях разговаривать. Иди проспись!» И пошла решительно, грудь выпятив, но Нина снова ухватила ее руку ниже локтя, говорила что-то, и опять о Сергее, произносила и обидные слова; обернувшись, Вера увидела Нинино лицо жалким и некрасивым, сочувствие к ней возникло на секунду и истлело тут же; для того чтобы утешать подругу или постараться понять ее, у Веры уже не было ни нервов, ни терпения. Она оттолкнула от себя Нину, не сильно, чтоб отстала, но та, пошатнувшись, рванулась к Вере, отчаянная, смелая, словно бы готовая вцепиться ей в волосы. «Ты что!» – растерялась Вера и толкнула Нину сильнее, почти ударила ее, думала, что эта неженка Нина отвяжется наконец, но та бросилась на нее снова, ответила тычком худеньких своих кулаков. Ударила еще раз и еще, кричала что-то. Вера оборонялась правой рукой, левую с пакетом отвела в сторону, но вскоре поняла, что пакет придется бросить на траву. Нина, быстро нагнувшись, стянула с правой ноги туфлю, французскую лакировку с бантом, с туфлей в руке она шла теперь на Веру, и Вера тоже, прыгая на одной ноге, сбрасывала носком другой черную, размятую уже туфлю – проверенное в никольских стычках девичье оружие. Грозный Верин вид Нину не остановил, поднятая Верой туфля как будто еще сильнее раззадорила ее, с отчаянием она рвалась к Вере, размахивала туфлей, кричала: «Так тебе! Вот тебе!» – получала сдачи, но боли вроде бы не чувствовала, хромать ей было неловко, она и вторую туфлю скинула, располагая, видимо, сражаться до последнего. Она нападала, теснила Веру к забору, а

та отбивалась вполсилы, хотя и была зла на подругу, знала, что, если ударит всерьез, может прибить Нину или покалечить. К тому же Вера имела преимущество – туфли ее давно вышли из моды, Нинины же редким туфлям завидовали и москвички, но сейчас, в бою, тонкие, крепкие каблуки Веры были опаснее тупых и толстых, как ножки белых грибов, Нининых каблучков. «Кончай, хватит! – кричала Вера. – А то я тебя так сейчас уделаю – век помнить будешь!» Но Нина, казалось, не слышала ее, не унималась, и только когда она крепко задела Веру каблучком по щеке, а Вера, разъярившись, ударила сильно, и Нина, выпустив туфлю из разжавшихся пальцев, согнувшись, закрыла лицо ладонями и заплакала беззвучно, вздрагивая плечиками, Вера опустила руку, дышала тяжело, глядела на Нину сердито, а Нина повернулась и пошла от нее, так и не отнимая ладоней от лица.

– Эй ты, вояка! – крикнула ей в спину Вера. – Туфли-то заberi! Мне трофеев не надо.

Нина вернулась. Вере на миг показалось, что она собирается ей что-то сказать, ей и самой хотелось, чтобы Нина ей что-нибудь сказала, но Нина не произнесла ни слова, когда же нагнулась за туфлями, взглянула на Веру затравленно, словно боялась, что та ударит ее, беззащитную, а подняв лакировки, надевать их не стала, босиком по пыли, по траве побежала пустынным тупиком к людной клубной улице, огородами ей бы уходить с поля боя.

Вера хотела крикнуть ей вслед какие-нибудь слова, но слова она могла найти сейчас только ругательные, обидные, великодушные победительницы остановило ее. «Глупая, ну и глупая! – подумала Вера. – Сама жалеть будет. Придумала черт-те что!» Вера подняла пакет с париком, ощупала его пальцами, не нашла ущерб, и это ее обрадовало, она оттерла листом лопуха отвоевавшую туфлю, надела ее и принялась охорашиваться. Поправила платье, складок и дыр на нем не оказалось, зеркальцем кожаной пудреницы обнаружила ссадину на щеке, ваткой оттерла засохшую кровь, но ссадина была все еще заметной. Вера попыталась забелить пудрой на щеке след Нинино каблука, но как ни растирала пудру, толку было мало. «Ну и черт с ним! – подумала Вера. – Как-нибудь обойдется. А этой Нинке я теперь покажу!»

Под платьем, на плечах и у шеи болело. Наверное, и там были ссадины и синяки. Возвращаться домой Вера не хотела, решила, несмотря ни на что, идти на танцы, только надо было немного отдышаться, отойти, успокоить себя.

И хотя она была возбуждена и нервничала, как нервничает актриса, которой завистники перед началом премьеры за кулисами устроили скандал, нервничала оттого, что стычка с Ниной погасила ее праздничное вдохновение, теперь она была как бы не в форме и своим париком могла, наверное, только рассмешить людей, все же, несмотря на эти свои переживания, она думала сейчас не о том, как появиться ей в клубе и как потом вести себя на людях, – все резче и резче думала она о Нине и о ее странной выходке. Двадцать минут назад слова о Сергее Веру просто обожгли, но теперь она хотела понять: были ли эти слова выдумкой, разрядившей Нинино дурное настроение, или же ее бывшая подруга выложила правду, которую она скрывала от нее, Веры, а может быть, и от самой себя? Неужели Нина любит Сергея («Он ведь и не москвич», – мелькнуло секундное соображение), неужели все эти последние четыре месяца с тех пор, как Вера познакомилась с Сергеем («Ну да, с помощью Нины, это с ней он приехал из Щербинки, ну и что из этого?»), неужели все эти четыре месяца Нина так умело скрывала свои чувства, что ни у Веры, ни у Сергея не возникло никаких подозрений, никаких интуитивных сигналов, а ведь, несмотря на их жаркую любовь, они с Сергеем обостренно и даже болезненно относились ко всем движениям и словам окружающих их людей. Неужели Нина любит Сергея и четыре месяца назад любила его? Выходит, что она, Вера, и в самом деле отбила Сергея у подруги? Впрочем, Нина по взбалмошности могла сочинить сегодняшние слова и уверить себя в их правде, чтобы смягчить страдания, вызванные бог знает какой чепухой.

То ли, это ли было причиной нынешнего взрыва или истерической вспышки – неважно. Вера теперь была сердита на Нину крепче, чем в драке, и говорила себе, что Нину не про-

стит, ни за что не простит, руки ей не подаст. Все теперь. Еще вчера Вера любила Нину, и утром она была ей как сестра, сейчас же Вера вспоминала Нинины глаза во время стычки, и они казались ей ненавидящими, вражескими. И все прежние свои отношения с Ниной Вера теперь просматривала заново, выискивая все ранее скрытое в них, высвечивая это скрытое рентгеновскими лучами собственной обиды и раздражения. Да, их в Никольском считали неразлучными, а вон как все обернулось. Теперь Нина представлялась Вере человеком дурным, противным, все, что было между ними хорошего, забылось или же казалось ложью, свойства Нинино характера, на которые прежде Вера не обращала внимания, приобретали совсем иной смысл, распухали, возводились в высшую степень. «Ах ты гадина, ах ты стерва!» – разъярялась Вера и уж конечно вспоминала с моментальными прояснениями и догадками все, что касалось отношения Нины к Сергею: и то, как она на него глядела, и как о нем говорила, и что выпрашивала. В прежних Нининых действиях и словах Вера усматривала сейчас вред для себя, Нинину корысть и хитрый маневр, только слепая дура ничего не могла вовремя заметить! И сегодня, конечно, Нина вокруг пальца обвела ее со злополучной сумкой, да еще и поиздевалась, наверное, в душе, язык свой ехидный высунула, личико у нее в ЦУМе было, несомненно, лисье. Это соображение еще горше расстроило Веру, ей вдруг явились мысли о Сергее, вдруг и он от нее скрывает что-то, – тоскливо стало Вере, тоскливо и страшно, глаза ее повлажнели, руки повисли, почувствовала она, что в рассуждениях своих может зайти далеко и лучше отправиться в клуб.

И когда она пошла в клуб, горечь словно бы разбавилась целебной медовой настойкой. Она уже думала, как хорошо ей будет на людях, а пройдя метров сто, уверила себя в том, что Сергей и знать ничего не знает о Нининых симпатиях, приедет через два или три дня, все объяснит, посмеется над Ниниными претензиями и отгонит злые сомнения.

Мать сидела в комнате кассира.

– Ну вот и я, – сказала Вера. – Дома скучно стало, я решила сходить на танцы. Сонька там хозяйничает.

Встала она к окошечку кассы боком на всякий случай, чтобы не углядела мать ссадину на левой щеке. Хотела было придумать причину, по которой не купила матери в Москве обещанную обнову, но ничего путного не придумала. «Завтра ей чего-нибудь наговорю», – решила Вера.

– Потанцуй, – сказала мать миролюбиво и устало. – Недолго гуляй-то. Завтра тебе с утра. Я скоро домой пойду. Съездили-то хорошо?

– Ничего... С Нинкой мы, правда, чего-то поругались. Мы теперь не подруги больше.

– Как же так? – забеспокоилась мать.

– Да так, – сказала Вера. – Ну ладно, давай билет, музыку хорошую завели.

– Ненадолго, слышишь? И с Ниной ты...

– Ну, привет. Я, может, еще к Колокольникову на день рождения забегу...

В дверях стояли билетерша Мыльникова и дружинник Самсонов. «Эх, черт! – подумала Вера. – Значит, нынче смена Маркелова!» Дружинники в Никольском, следившие за вокзалом и клубом, были разные – обыкновенные и принципиальные. Первые, по мнению Веры, занимались именно хулиганами, а порядочным людям не мешали, при них, как правило, происшествий на танцах не случалось, а мелодии в клубе звучали самые что ни на есть насущные и ходовые. Принципиальные же любили, чуть что, показывать власть и силу. То ли они были искренними ревнителями благонадежных бальных танцев, то ли именно на танцплощадке им легче было командовать своими же никольскими, володеть и править ими четыре часа. Маркелов как раз был принципиальный дружинник, и ребята из его патруля тоже. А с Верой у них установились отношения, известные в поселке под названием «дружба крепнуть». «Ничего, – сказала себе Вера, – разберемся».

Пока же Самсонов ей улыбался, и билетерша Мыльникова тоже. В фойе, украшенном плакатами и обязательствами пуговичной фабрики, называемой, впрочем, пластмассовым заводом, Вере встретились знакомые. Она подумала: сразу ей появиться на танцах в парике или же, показавшись людям, выйти на минуту и вернуться в зал преображенной? Последнее было заманчивее. Вера протанцевала танго, обошла зал так, чтобы все ее заметили в естественном виде, и забралась в темную комнату за сценой. Минуты через две появилась оттуда и вела себя так, будто бы уже сто лет носила эту пышную, красивую прическу. Подошла к компании Татьяны Дементьевой: «Привет, девочки. Я с вами посижу, если не возражаете». Дементьева смотрела на нее, рот открыв. «Чегой-то ты?» – «А чего? – сказала Вера. – Я ничего... Как прическа-то?» – «Ну! – восхищенно выдохнула Дементьева. – Люкс!» Начались расспросы, восторги, советы. «Да чего вы, девчонки, ни о чем другом, что ли, не можете говорить! – сказала, как бы смущаясь, Вера. – Подумаешь, парик! Эка невидаль...» Она была вовсе не из тех, кто подпирает на танцах стены и, томясь, ждет счастливой минуты, когда наконец возникнет великодушный молодой человек и скажет: «Разрешите пригласить?» Чего-чего, а кавалеров хватало. Вера не ломалась, а принимала все приглашения и танцевала, танцевала всласть. Музыка и впрямь была постная, дозволенная Маркеловым, вальсы, фокстроты и даже падеспани, только в летке-енке и чарльстоне можно было отвести душу, не дожидаясь, пока Маркелов с товарищами спохватятся и напомним о культуре поведения. И все же Вера танцевала с удовольствием и успевала разглядеть весь зал: знала уже, что своего добилась, что все на нее смотрят – кто с удивлением, кто с восторгом, кто с завистью, а кто фыркая, ей-то что, ей хорошо, она себе позволила сделать то, что хотела, и она довольна собой и тем, что на нее все смотрят, и все о ней говорят, и завтра будут говорить, и послезавтра, на долгие годы останется в памяти Никольского ее появление в диковинном парике.

– Ну, ты даешь! – сказал шалопай Корзухин, никольский битл, глядя на Веру влюбленными глазами. – Мне потом дашь на день поносить?

– Как же, для тебя, дурного, только деньги и тратила! – заявила Вера.

– Не, я серьезно, походишь с ним, надоест, мне дашь на денек напрокат, вот радости будет!

– Издеваешься!

– Да ты что! Завидую! Вон как на тебя Маркелов смотрит, на меня бы так смотрел, я бы пятерку отдал...

Маркелов действительно смотрел на Веру с раздражением, но придраться к ней он не мог.

– А-а, плевала я на Маркелова, – сказала Вера, – мне хорошо – и все...

– Правильно живешь, – обрадовался Корзухин. – Вина хочешь выпить?

– Пошли.

Вышли на улицу, пробирались зарослями крапивы и лопухов к деревянному крыльцу, ведущему на второй этаж, в будку киномеханика. На лестнице под лампочкой сидела нешумная компания парней и девчонок. Гитары чуть слышно выводили доморощенный никольский шейк, явление Веры смутило гитаристов, пальцы их перестали трогать струны. Снова выслушивала Вера слова одобрения, принимала позы, соображала, где бы встать повыгоднее, так, чтобы и здесь все могли разглядеть ее голову. Корзухин поднес Вере стакан вермута, теплого и терпкого, рубль семь копеек бутылка. «Закуси нет, – предупредил Корзухин, – извините». – «Спасибо, – сказала Вера. – Чего вы тут сидите-то в скуке? Допивайте – и пошли опять на танцы».

Повалили в клуб, добавили там шуму. Снова Вера принялась танцевать – плясуньей она считала себя посредственной, неуклюжей, завидовала Нине, ту хоть в ансамбль к Моисееву бери, и обычно, стесняясь публики, танцевала где-нибудь на задах, сейчас же разо-

шлась, совсем не следила за тем, правильно у нее выходит или нет, ей казалось, что все у нее получается красиво и легко и что люди вокруг этой красоты и легкости не могут не заметить. «Ты сегодня в ударе», – говорили ей парни. «А что? Я такая! – смеялась Вера. – Я еще и не это могу!» Она веселилась, была довольная жизнью, о драке с Ниной и не помнила, то есть помнила, но так смутно, словно подруга ее обидела или она ее обидела давным-давно, в туманной юности, никакие сомнения в Сергее уже не бередили ей душу.

Одно Веру расстраивало – то, что Сергея не было рядом и они не могли уйти с ним вдвоем с танцев куда-нибудь. Чувство это было резким. Вера осознала его, когда танцевала танго с Корзухиным и он прижал ее к себе властно, а она не отстранилась, думала: вот бы Сергей появился сейчас в клубе, вот бы явился он из Чекалина, – но он не мог явиться по ее хотению, оставалось терпеть два дня, ждать два дня. «Ну ладно, – сказала себе Вера, – потерпим...»

Заспешила музыка, нервная, громкая, ноги сами пустились в пляс, плечи и согнутые в локтях руки ходили резко, рывками, подчеркивали капризные толчки ритма. «Давай, давай, Навашина!» – подзадоривал ее Корзухин, заведенный, как и она, шейком. Вера старалась, ошибок как будто не делала, торопилась и, не ломая танца, двигалась чуть вбок, в сторону, метр за метром вела Корзухина в центр зала, на лобное место, где все могли ее видеть, где все могли снова рассмотреть ее красоту и ее наряды. «Кончайте, кончайте безобразничать! – возник из ниоткуда дружинник Самсонов, сам по себе или посланный Маркеловым. – Добром прошу». Раз добром просил, успокоились, но как только вырвалась из динамика ветреная мелодия молдавеняски, на шейк ничем не похожая, разве что темпераментом, забыла Вера о предупреждении и потащила Корзухина танцевать, и начали они шейк, не все ли равно подо что! Музыка была быстрая, разошлись пуще прежнего – где наша не пропадала, – то изгибались Вера с Корзухиным картинно, то раскачивали себя в прыжках, эх, хорошо... И вдруг чьи-то руки оказались на их плечах, суровые отеческие глаза уставились на них в строгости. Маркелов с товарищами. Вере с Корзухиным за безобразие в общественном месте, за нарушение эстетики быта предложили пойти с танцев прочь.

Вере было обидно. Сорвали ее развлечения, так и не получила она настоящего удовольствия от сегодняшних танцев.

И тут она вспомнила, что может пойти к Колокольникову, на день рождения Турчкова.

5

Сначала Вера полагала зайти домой и нарвать для Турчкова, ради приличия, цветов, но потом сообразила, что в палисаднике Колокольникова растут цветы ничем не хуже навашинских, и, подумав так, свернула на Севастопольскую улицу.

Дом Колокольникова стоял в духоте июньского вечера – душа нараспашку, все окна настежь, шумел, веселился, смущал соседей беззастенчивым ревом магнитофона. Вера открыла калитку с фанерным почтовым ящиком и по дорожкам, посыпанным песком, стараясь остаться незамеченной, прошла к клумбе. Отцвела черемуха, отцвела сирень, впрок тянули соки из земли гладиолусы, георгины, астры, чтобы к закату лета проявить себя и удивить мир, раскрасить его на месяц, вспыхнуть и отжить, впустив осень. Теперь же Вера нарвала букет мелких, неярких, но пахучих цветов на тонких стебельках. «Ну ничего, – решила Вера, – и этому букету он должен спасибо сказать. Сколько ему лет-то? Семнадцать...» Тут она вспомнила, что мать не раз рассказывала ей, как она гуляла с ней, грудной, по никольским улицам и как мать Лешеньки Турчкова гуляла рядом со своим сыном, завернутым в голубое одеяло.

Стучать в дверь было бессмысленно, и, хотя дверь не заперли, Вера надумала попасть в дом Колокольникова через окно, подтянувшись, чуть платье не порвала от усердия, но все вышло хорошо, на пол с подоконника Вера спрыгнула мягко и затем картинно взмахнула букетом. В комнате зашумели, обрадовались, стали лить вино и водку в рюмки и стаканы, требуя: «Штрафную!» Вера, церемонная, галантная, подошла к Лешеньке Турчкову, поклонилась ему, вручила цветы, при этом произнесла ласковые слова, расцеловала Лешеньку, и тот, бедный, порозовел от смущения. Стол был небогатый – консервы, вареная картошка, соленые огурцы, грибы и селедка, «Экстра» тульского завода и знакомый вермут по рубль семь. Гостей было человек двадцать, а то и меньше, все знакомые – парни и девчонки из Никольского и соседних станций. Присутствовал, естественно, и хозяин – Василий Колокольников, возле Колокольникова вертелся его приятель из Перервы – Юрий Рожнов, парень лет девятнадцати, с залысинами, мужиковатый, тертый, охочий до баб. Он сразу же стал подмигивать Вере, будто хороший знакомый, будто у них с ней имелись какие-то общие секреты. «Наглая рожа, – отметила про себя Вера, – пусть только пристанет!»

Ей радовались. Вера это видела, но ее удивляло то, что ей радуются просто так, как радуются всегда свежему человеку, явившемуся в благодушную компанию, где все от выпивки добры. Так оно и было на самом деле, сначала компания приняла ее, согрела, напоила и уж потом рассмотрела. То есть многим сразу бросилась в глаза необычность Вериной прически, но мало ли на какие чудеса за умеренную даже плату способны московские парикмахеры! Когда же было замечено, что на Вере диковинный парик, тут и пошли удивления, потому что свои волосы, пусть даже и в наилучшем виде, – это одно, а приобретенный за деньги парик, может быть, даже иностранный, – это другое. Девчонки расспрашивали Веру – кто громко, а кто на ушко, смущаясь, и Вера рассказывала, где она купила парик и сколько он стоит, как мечтала приобрести его знаменитая актриса, подруга самого Вячеслава Тихонова, он был с ней в магазине и советовал ей непременно купить этот парик, но что-то там у них не вышло, вроде бы деньги они дома забыли или еще что. Вера объясняла, где находится актерский магазин, и добавляла, что покупать такие парики сумасбродство, пустая трата денег, вот Нина сумку приобрела – это да! Так говорила Вера, а сама все радовалась своей покупке и замечала, что девчонки ей завидуют, парни же смотрят с восхищением, будто бы в первый раз видят ее. «Пусть, пусть посмотрят!» – думала Вера.

– Ну ты даешь! – сказал ей восторженно Колокольников, и Вера вспомнила, что эти слова она уже слышала от кого-то на танцах.

– Голубушка, как ты хороша! – вынырнул из-за плеча Колокольникова лысоватый крепыш Рожнов и опять подмигнул Вере, словно на самом деле между ними было что-то тайное и важное.

– Не имею чести знать, – сказала Вера.

– Ишь ты, зазналась, мадам! – рассмеялся Рожнов.

– Ну как же, это же Юра Рожнов, мой приятель из Перервы, – сказал Колокольников, – я тебя с ним знакомил однажды...

– Это тот слесарь, что ли? – поморщилась Вера. – Слесарь, токарь, пекарь... Уж больно нахальный...

– Точно! – обрадовался Рожнов. – Нахальный!

Он в подтверждение своих слов тут же схватил Верину руку, смеялся и был уверен в успехе, сказал: «Пошли станцуем», но Вера руку его отвела, заявила: «Не имею с вами желания» – и, помолчав, добавила, чтобы смягчить резкость: «Вот с Лешенькой я потанцую, он ведь сегодня новорожденный».

С Лешенькой они протанцевали вальс, сказали приятные слова друг другу, и, когда мелодия стихла, Леша отвел ее к столу и усадил галантно.

Тут Вера почувствовала, что она устала, очень устала, находилась, нагулялась по Москве, ноги ее гудели, ей захотелось прилечь сейчас дома, в саду, под папировкой, в тишине и прохладе. Ей вдруг стало скучно, все надоело, и парик надоел, и успех надоел, сыта она им была по горло, хорошего и вправду полагается понемножку, надо было выбрать мгновение и невидимкой ускользнуть с вечеринки домой – ведь завтра утром ей ехать на работу в Столбовую. Никто ее вокруг не радовал, а уж развеселый слесарь Рожнов, со своими наглыми глазами, неотразимыми якобы баками провинциального цирюльника, ужимками первого парня на деревне, просто раздражал.

– Ты что?

– Я? – очнулась Вера.

– Что с тобой? – обеспокоенно спрашивал Турчков. – Что ты сникла?

– Устала я, Лешенька, – виновато улыбнулась Вера. – В Москву ездила.

Турчков сидел рядом, был вроде бы трезв, на щеках его, правда, появились розовые пятна, и уши покраснели. Лицо у Турчкова было нежное, девичье, парни в Никольском называли его малолетком и маменькиным сынком, девочки же ласково – Лешенькой.

– Выпей для бодрости, – сказал Турчков. – За меня выпей.

– Что ж, и выпью!

Чокались, глядя друг другу в глаза. Вере показалось на секунду, что Лешенька смотрит на нее своими кроткими синими глазами не как всегда, а по-особому, чуть ли не влюбленно; ну и пусть смотрит так, подумала Вера, дурачок. Стало чуть веселее, захотелось еще выпить, опьянеть Вера не боялась – сколько бы она ни пила, пьяной обычно никогда не бывала, вокруг все хмелели, и здоровые мужики тоже, а она, выпив с ними наравне, всегда оставалась почти трезвой.

– От матери-то с отцом не попадет? – спросила Вера.

– За что?

– За это чаепитие-то?

– Они знают.

– И сколько вина тут стоит, знают?

– А зачем им знать-то? – важно сказал Леша. – Я и сам взрослый. И деньги кое-какие получаю...

– Прямо тысячи?

– Ну не тысячи...

Лешенька старался и в самом деле выглядеть человеком взрослым и независимым, но в своих стараниях был смешон, понимал, что на него смотрят с улыбкой, снисходительно, и пыжился от этого еще больше. Вера сдерживалась, чтобы не рассмеяться, – впрочем, теперешними ребяческими стараниями Лешенька вызывал у Веры чувства чуть ли не материнские и был ей приятен.

– Еще налей, – сказала Вера, – может, усталость и вправду снимет...

– С удовольствием! – обрадовался Лешенька.

Он хотел сказать ей что-то, но замолчал, растерялся, а хотел сказать, видимо, важное, и когда уже решился сказать это важное, затих магнитофон, и с шумом прихлынула ватага танцоров, и все принялись корить Веру и Лешеньку за уединение, за измену товариществу, делались при этом и намеки.

– Ох и глупые же вы! – смеялась Вера лениво. – Болтуны! Нельзя уж и с именинником посидеть!

Потом гости пристали к Турчкову, упрашивали его сыграть что-нибудь на гитаре, и, хотя он объяснял, что учился в музыкальной школе в классе фортепьяно и не знает гитару, все же инструмент ему вручили и теперь просили исполнить модные песни. Лешенька забренчал потихоньку, Колокольчиков, тоже с гитарой, стал его энергично поддерживать, песни зазвучали знакомые по туристским компаниям, иногда на ломаном английском языке, вроде бы от битлов. Вера, если слова знала, хору подпевала, она любила и умела петь, но больше русские протяжные песни, с печалью и слезой – «Лучину» или «Накинув плащ...», – звучавшие в их доме, когда отец еще жил с ними: для тех песен нужны были слух и душа, сегоднешние же требовали только знания слов. И все же Вера подпевала, как бы отогреваясь, снова забыла об усталости и своем намерении уйти домой. Потом опять включили магнитофон. Рожнов пригласил Веру, теперь уже вежливо, но и это приглашение она не приняла, а пошла с Колокольниковым.

– Где Нинка-то? – спросил Колокольников.

– Не знаю, – сказала Вера. – Мы с ней подрались.

Слова Верины, может, показались Колокольникову шуткой, а может, он посчитал: подрались так подрались; во всяком случае, слова эти в нем не пробудили никакого интереса.

– А ты ее ждешь? – спросила Вера.

– Нет, – сказал Колокольников. – Не пришла и не пришла. Вот ты здесь – и хорошо.

– Так я и поверила...

Колокольников принялся ее расхваливать, говорил, что он чуть ли не влюбился в нее, такая она сегодня красивая, выглядит хорошо, и парик ей идет, и вообще она женщина, каких ему никогда в жизни не найти. Вера смеялась, похвалы парика ей были неинтересны, она уже собиралась снять его, показать, что не потускнеет и без сумасбродной обновки, поигрались – и хватит, прочие же любезные слова Колокольникова ей нравились. Она не прерывала Василия – наоборот, репликами своими подталкивала его к новым комплиментам и излияниям души. Вера не отстранилась, когда Колокольников прижал ее к себе, обняв руками талию, и поцеловал в щеку как бы невзначай. Ни в чем дурном она упрекнуть себя не могла, и все это никак не влияло на их отношения с Сергеем, это было просто так, на минуту, на секунду, а с Сергеем у них – на всю жизнь. Колокольников был нежен и добр, и Вере не хотелось, чтобы блюз кончался.

Потом плясали шейк, и не один, Вера утомилась, не выдержав, выскочила на террасу, с шумом плескала воду из рукомойника на ладони и на лицо, парик стал ей уже в тягость, она стянула его, но вокруг зароптали, забеспокоились, и Вере пришлось надеть парик, пришлось терпеть его дальше, но не из-за просьб гостей, а из-за того, что собственные ее волосы неисправимо смялись и приводить их в порядок пришлось бы долго. Вокруг Веры опять суетились парни – и Колокольников, и наглый по-прежнему Рожнов, и уколиций рассудитель-

ный Саша Чистяков, учившийся классом старше, и прочие ребята. Суетились они вокруг нее к досаде остальных гостей, но досады своих приятельниц Вера не замечала. Зато увидела она, что Лешенька Турчков как будто бы чем-то расстроен, держится в стороне и изредка поглядывает на нее застенчиво, но вместе с тем и с укором, словно бы давая понять, что расстроен он именно из-за нее. «Что это он? – подумала Вера. – Я и повода не давала...» Она принялась вспоминать, чем могла удручить Турчкова, но ничего не вспомнила и со смехом потянула новорожденного к столу. Толстые губы Лешеньки вздрагивали, в волнении он приминал рукой белые кудри. Пили снова. Рожнов оживился, заранее хихикая, стал с выражением рассказывать анекдоты, которые в Никольском привыкли называть «рожновскими», анекдоты были неприличные, рискованные, девицы фыркали, конфузились, но все же слушали Рожнова с интересом.

– Вот дурак, вот нахал! – говорила Вера, как бы осуждая Рожнова, а сама смеялась. – Слесарь, токарь, пекарь!

Лешенька Турчков как-то странно посмотрел на Веру, встал и быстро вышел из комнаты, гости переглянулись, примолкли было, но разговор тут же возобновился и зашумел. Вера опять смеялась, рассказывала истории про своих сумасшедших, но потом любопытство подняло ее с места и привело на террасу, ей казалось, что Лешенька ушел из-за нее, и хотелось узнать, что с ним происходит, совсем ведь мальчишка, как бы чего не выкинул.

Лешенька стоял на террасе опустив голову.

– Отчего ты убежал? – спросила Вера.

– А тебе что? – сказал Турчков, стараясь быть грубым.

– Интересно.

– Очень я тебя интересую!

– Почему бы и нет?

– Как ты можешь так со всеми! – сказал Турчков зло.

– Что со всеми? – подняла ресницы Вера.

– Сама понимаешь – что!

– Я ничего не понимаю.

– Не прикидывайся дурачком!

– Ты пьяный, что ли?

– Я трезвый.

Вера не выдержала, подошла к Лешеньке, стала гладить его мягкие, кудрявые волосы, хотела успокоить, ласково говорила: «Ну, не смотри на меня волчком, будь добр, вот ты какой смешной...» – была готова поцеловать его, но Лешенька резко повел плечом, крикнул нервно: «Отстань!» И, голову подняв, быстро ушел с террасы. Вера смотрела ему вслед, улыбаясь. Лешенька выглядел сейчас вовсе не волчком, а щенком, побитым, сбегавшим с перепугу, поджавши хвост. Отношения их с Верой были спокойные, соседские, ни о каких Лешиных чувствах Вера не знала – и вдруг сегодня он устроил ей сцену. Вера не обиделась на Турчкова, то, что он нервничал именно из-за нее, ей представлялось естественным, она бы удивилась, если бы причиной страданий Турчкова оказалась другая девчонка. Она жалела Лешеньку и пообещала себе при случае приголубить и утешить его.

«Скорей бы Сергей вернулся!» – снова вздохнула Вера.

Тут она вспомнила туманные Лешины упреки и подумала, не совершила ли она нынче чего-либо, что противоречило бы их любви с Сергеем, и, перебрав все случившееся за день, ничего дурного не нашла.

В столовой опять танцевали. Лешенька сидел на стуле у окна и курил. Кажется, он и на самом деле не был пьян, отметила Вера, в компании вообще все, кроме Эдика Стеклова и двух девчат с Лопасненской улицы, были лишь навеселе, Вера под села к столу, ей вдруг захотелось есть.

– Сейчас, – сказала Вера Колокольникову, манившему ее на танец, – сейчас перекушу.

Усталость прошла, а с ней вместе прошли и неприятные мысли и об утренней тоске, и о слезном разговоре с матерью, и о глупой стычке с Ниной. Вера с удовольствием вспомнила свои сегодняшние дела и путешествия. День выдался удачный. Он был долгий, это даже был вовсе и не день, а несколько дней, слитых в один. Вера вспомнила сейчас сегодняшние звуки, запахи и краски, обрывки разговоров, застывшие и живые картины бурной, деятельной, счастливой жизни, в то же самое время жизни беззаботной и безалаберной, а значит, и еще более привлекательной. Снова блестела на солнце вода царицынского пруда, в парке напротив, как всегда, берегли свои печальные тайны красные развалины екатерининского замка, а они с Ниной, разбрызгивая босыми ногами воду, шли вдоль берега, удивляли публику грацией и красотой движений. Снова шумела рядом улица Горького и ее магазины, искушали витрины, зазывали рекламы, двери распахивались перед Верой с заискиванием и радостью все до одной, толпа, разодетая, веселая, считала Веру своей и провожала от магазина к магазину. Снова лежали за стеклом в аптекарском шкафу с бронзовыми виньетками диковинные парики, один краше другого, а уж тот, что примеряла актриса, был словно волшебный. Снова Вера, глядя в зеркальце кожаной пудреницы, обмирала в кабине общественного туалета, а Нина жалостливо скреблась в дверь.

Ах, какой нынче хороший день, думала Вера, добрый и удачливый. Это был ее день, может быть, и еще чей-то, но ее-то в первую очередь. Уже одно то, что с утра она была на людях, ее радовало, кому-то нравится одиночество, келья с узким оконцем, избушка в дремучем лесу, а ей подавай толпу – живописную, шумную, суетливую, где каждый как бы сам по себе, но все вместе образуют стихию, движение, праздничной мелодией отзывающиеся в душе, стихию, где она, Вера Навашина, вовсе не песчинка, а со всеми равная, нарядная и красивая женщина, не оценить которую не могут люди со вкусом. Веру всегда хмелило движение народа, толпа, и она с удовольствием бывала на стадионах, на пляжах, на танцплощадках, на рынках, в парках на массовых гуляньях и на московских улицах. Она сидела сейчас за столом, снова представляла сегодняшнюю улицу Горького и улыбалась.

Конечно, она понимала, что ничего такого большого, что стало бы вехой в ее жизни или вызвало уважение к ней людей, окружающих ее, нынче не произошло. Но кто знает, что в жизни значительно, а что нет... Есть, правда, безупречные, с точки зрения матери, нормы жизни, о которых она напоминала Вере всегда, но такие ли уж они безусловные и естественные? Людей миллионы, и у каждого свои правила и законы, свои привычки и свои удовольствия, иначе какие же они люди! И она, Вера, человек, и жизнь не должна быть ей в обузу, не должна ее мучить, старить раньше положенного и сушить, как высушила мать. Естественно, она не уйдет никуда от насущных забот и хлопот жизни, от своей работы, не будет жить за счет других, не будет подлой и бесчестной, но уж постарается и не стать старухой в сорок шесть лет. Нынешний день тем и был хорош, что не принес ей никаких тягостей, ни в чем ее не сковывал, не перечил ни в чем, а позволял делать то, что она хотела; это был день легкий, как яркий, летящий над улицей шар, или, еще вернее, легкий и счастливый, как танец жаворонка над теплым июньским полем. И ей хотелось, чтобы все дни ее жизни были как нынешний, легкие и свободные, и чтобы воспоминания о них ничем ее не укоряли. Она понимала – такого не будет, – но хорошо бы так было.

Вера подняла голову. В комнате происходило движение. Чистяков и Колокольников выводили под белые руки побледневшего Лешеньку Турчкова. «Нашатыря ему, нашатыря!» – советовали им вслед. Вскоре Саша Чистяков вернулся, успокоил гостей: «Все в порядке, стало легче». Потом появились и Колокольников с Турчковым. Лицо у Турчкова было мокрое и белое, дышал он трудно, голову нес виновато. Снова Вера пожалела его, хотела подойти к нему и сказать что-нибудь, но Турчков, предупреждая ее намерение, посмотрел в ее сторону, и Вера удивилась его взгляду, по-прежнему обиженному и как будто бы даже брезгливому.

Раздражения Вериного этот взгляд, однако, не вызвал, – наверное, потому, что снова Турчков показался Вере жалким лопоухим щенком.

Колокольников опять позвал ее танцевать, и она пошла с охотой. Обычно она предпочитала быстрые, озорные танцы, ее горячая кровь требовала удал, сейчас же Веру больше устраивали танго и блюзы – то ли потому, что она устала, то ли оттого, что томила духота, то ли по какой иной причине.

Пела Элла Фицджералд, Колокольников прижал Веру к себе, и она ничем не выразила ему своего неудовольствия, наоборот, своей улыбкой она как бы поощряла старания Колокольникова, и он смотрел на нее пьянящими глазами, и она не отводила глаз, чувствовала его тело и его желание, рискованное хождение по краю обрыва ей нравилось и волновало ее.

– Мне себя жалко, – сказал Колокольников.

– Отчего?

– Ты вот рядом и далеко. И никогда не будешь рядом.

– Уверен в этом?

– Уверен. Из-за своего Сергея уж ни на кого ласково и не взглянешь.

Колокольников играл, и Вере нравилась его игра.

– Неужели у меня и у Сергея будет такая скучная жизнь? – сказала Вера.

– Скучная-то скучная, зато праведная. Ты женщина нравственная, Сергею не изменишь, даже если захочешь.

– От этого тебе жалко себя?

– От этого...

– И ни на что не надеешься?

– Чего зря надеяться! Ты скупая на любовь.

– Может, еще буду щедрой?

– Давай, давай! Главное, чтоб человек был хороший.

– Какой человек?

– Ну, тот, с кем ты будешь щедрой.

– Вроде тебя, что ль?

– Вроде меня. Но не лучше.

– Дурачок ты, – засмеялась Вера, – и нахал. У Рожнова, что ли, учишься?

– Сами грамотные.

Следовало бы оборвать разговор, подумала вдруг Вера, отчитать Колокольникова всерьез, да и себя заодно, но эти соображения продержались в Вериной голове недолго, разговор с Колокольниковым был ей приятен и необходим, отказать себе в удовольствии любезничать с ним она не могла. И после танцев, когда они вдвоем уселись на диван, Вера, улыбаясь, выслушивала легкие слова Колокольникова и говорила что-то ему в ответ, порой двусмысленное, доставлявшее Колокольникову и ей радость, а сама думала о том, что неужели действительно их с Сергеем жизнь сложится скучной и они до беззубой старости будут в умилении сидеть друг против друга, как жалкие старосветские помещики. Вера не имела привычки заглядывать в собственное будущее, представлять его себе в мелочах, а тут она представила и не то чтобы ужаснулась, но, во всяком случае, опечалилась. «Неужто и изменять друг другу не будем? – сказала себе Вера. – Наверно, будем. Для интересу. И я его прошу в конце концов, и Сергей меня небось простит, так что крепче потом станем любить друг друга».

Может быть, в иной раз, в иной обстановке, в ином настроении Вера посчитала бы эти мысли возмутительными и безрассудными, но сейчас они казались ей самыми что ни на есть разумными, подходящими ко времени. Она даже обрадовалась этим мыслям, обрадовалась своей смелости и тому, что искреннее обещание себе самой всегда быть свободной от пережившей себя морали, о которой ей напоминали все, и Нина в частности, и к которой она иногда по инерции относилась почтительно, обещание поставить себя выше этой морали

далось ей без особых сомнений и унижительной душевной борьбы. Она даже себя зауважала. Значит, она человек не хуже других. Некоторых и за пояс заткнет. Достать бы еще пояс из золоченых колец, какой недавно с рук купила Нина. Впрочем, когда Сергей вернется, надо будет попросить, чтобы он в какой-нибудь мастерской сделал ей пояс из колец, он сделает, и не хуже парижского. О Сергее она подумала спокойно, хотя и изменила ему в мыслях, а ведь прежде даже летучие опасения, что Сергей заведет другую женщину или она, Вера, увлечется каким-то парнем, казались ей чудовищными и пугали ее всерьез. «Может, я пьяна?» Нет, пьяна она не была, хотя, конечно, не была и трезва. Легкость и удачливость нынешнего дня жили в ней, будоражили ее, подзадоривали совершить нечто такое, что бы всех удивило, а ей принесло удовольствие. Мучительное и оттого сладкое желание шевелилось в ней, дразнило ее, терзало ее, желание рисковать, доказать самой себе, что она не только на словах может стать свободной и смелой. Она понимала, что, если бы Колокольников действовал решительнее, она бы пошла за ним и ей, наверное, было бы хорошо, а уж назавтра она бы разобралась с совестью и прочим. Колокольников ей нравился, волновал ее, но, если бы на его месте сидел и шутил другой парень, не менее приятный, и тот парень нравился бы ей теперь и волновал бы ее, и с ним Вера могла уйти. Испарились, исчезли, провалились в расщелины памяти соображения о том, кто такой Колокольников и какая у него жизнь и кто она, Вера Навашина, и какая жизнь у нее. Все уже ничего не значило, а вот она ощущала руку мужчины на своей руке, видела его ласковые глаза, слышала его близкое дыхание и его слова, которые были уже не словами, обозначавшими какие-то понятия, а сигналами, вроде биения пульса.

Кто-то уходил, прощался с Турчковым и остальными, вообще гостей, оказывается, было уже не так много. Зоя Бахметьева звала Веру пойти с ней. Вера, поколебавшись, отказалась. Колебалась она так, для приличия, сама и не думала уходить раньше времени и была довольна тем, что, несмотря на соображения здравого смысла – вставать завтра рано, да и вообще хватит гулять, – она позволяет себе делать то, что ей хочется. Колокольников поблагодарил ее, и возникший откуда-то Рожнов покровительственно похлопал по плечу: «Молодец. Девка что надо!»

– Но-но, не хами, – строго сказала Вера, – а то как врежу.

Опять танцевали, девчонок осталось три, их приглашали по очереди, однако веселья и шума не убавилось. Вера по-прежнему пользовалась успехом, но временами она чувствовала какую-то перемену в отношении к ней парней, что-то произошло, а что – Вера понять не могла, да и не успевала подумать об этом как следует. Танцуя, она видела, что парни за столом, дожидаясь партнерш, шепчутся заговорщически и поглядывают на нее совсем не так, как прежде. Удивляло ее и то, что Колокольников, минутами назад любезничавший с ней, сейчас, сидя между наглецом Рожновым и все еще дувшимся на нее Лешенькой Турчковым, о чем-то шептал, глядя на нее, и парни, довольные, смеялись, выслушивая, видимо, пошлости или сплетни. Впрочем, все это, может быть, только мерещилось ей, а если даже и не мерещилось, то черт с ними, она сама по себе, они – тем более, и в завтрашней жизни они не будут ее интересовать вовсе, и что Колокольников говорит сейчас о ней или еще о ком-то, ей все равно, тем более что, когда он снова танцевал с ней, он был опять мил и опять волновал ее.

– Дура Нинка-то, не пошла со мной, – смеялась Вера, будто бы уж совсем забыла, почему Нина не пошла.

– А зачем она нужна-то здесь? – говорил Колокольников. – Мне, кроме тебя, здесь никого и не надо.

– Ну уж, ты скажешь! – возмущалась Вера, а сама радовалась его словам.

– Хочешь – верь, хочешь – нет.

– Не уверен – не обгоняй, – вспомнила вдруг Вера.

- А если уверен?
- В чем же ты уверен?
- В самом себе, – сказал Колокольников.
- Это ты к чему?
- А ни к чему.

Вера чувствовала, что никакой намек Колокольникова и никакая двусмысленность ее сейчас не смутят и не обидят. А он как раз замолчал. Вера глядела на стены – на них висели картинки, вырезанные из «Огонька»: сосна в поле и Аленушка у воды, плачущая о погубленном брате, а рядом грамота под стеклом и на грамоте голубой игрушечный электровоз. И тут же в рамках семейные фотографии и на них непременно Вася Колокольников – и в распашонке, и с клюшкой в руках.

– Слушай, а где девчонки? – спохватилась Вера.

– Ушли, – сказал Колокольников. – Тебе махали, а ты не видела, что ли? Я думал – видела.

– Просмотрела. Ребята их провожать пошли?

– Наверное, – не очень решительно сказал Колокольников.

– И мне, что ль, пойти?

Твердости не было в ее словах, ей на самом деле стоило идти домой, но отчего-то и не хотелось. Скорее всего, жаль было заканчивать нынешний удачный день, отрывать напрочь листок численника со скучными для всех сведениями о восходе солнца и сроках полнолуния, но такой счастливый для нее. Потому-то она и желала продлить этот день еще хотя бы на пять минут, желала, чтобы Колокольников опять нашел хорошие слова и попробовал уговорить ее остаться, а она, полюбезничав бы с ним, все равно пошла бы домой. Колокольников и принялся ее уговаривать, обещал напоить напоследок чаем. Вера повторяла: «Да что ты! И пить-то на ночь вредно, да и спать уж пора», но сама не уходила.

Колокольников сидел рядом, глядел ей в глаза, гладил руку и уже не казался ей соседским мальчишкой из детства, он был приятным, даже обаятельным мужчиной. Вера жила сейчас ощущениями каждой улетающей секунды, не забегая ни на шаг вперед, положив: «Пусть все будет как будет», но уверив себя в том, что ничего дурного и постыдного у них с Колокольниковым не случится.

Колокольников вдруг встал – то ли испугался чего-то, то ли вспомнил о неотложном деле, – молча вышел из комнаты. Вера поднялась тоже, платье оправила на всякий случай, решила: «Хватит. Надо идти», успокоилась, хотя как будто бы в чем-то и была разочарована. Но тут Колокольников вернулся и вновь принялся кружить ей голову. Отвечая на его приятные глупости смехом или же пустыми, легкими словами, Вера видела, что Колокольников стал как будто более решительным и в то же время нервным. «Чай, что ли, поставил?» – спросила Вера. «Что? – рассеянно сказал Колокольников, но тут же спохватился: – Чай? Да, чай!» Вера неожиданно зевнула, рот ради приличия прикрыла ладонью, рассмеялась: «Ух, батюшки!» Хотела сказать, что все, она идет домой и чай ей не нужен, но тут Колокольников шагнул к ней, схватил ее огромными своими руками и стал целовать. Вера хотела вырваться из его объятий, колотила легонько его по спине, говорила: «Отпусти, Васек, не дури!», говорила добродушно и даже виновато, как взрослая, опытная женщина мокрогубому мальчишке, которого сама же от нечего делать ввела в заблуждение, расстроила и дала повод подумать бог весть что. Ласки Колокольникова стали ей вдруг неприятны, она отводила свои губы и глаза от его распаленных губ и глаз, верила, что сейчас он образумится, остынет, отпустит ее, вспомнит о себе и о ней, кто они, где и как они живут, вспомнит и успокоится. Но он не остывал и не отпускал ее. «Да ты что! А ну отстань, а то сейчас...» Она пыталась освободиться уже отчаянно, злилась, била Колокольникова по спине, а он не отпускал ее, шептал что-то то ли растерянно, то ли стараясь ее улестить и припугнуть одновре-

менно; платье трещало под его пальцами, и все же Вера сумела вырваться, локтем задела при этом Колокольникову по носу, раскровенила его, отскочила вправо, искала глазами дверь, но дверь была за спиной Колокольникова. «Васька, сволочь, а ну выпусти! – крикнула Вера. – Завтра будешь плакать, прощения придется просить, пошутил – и хватит, сделай только шаг ко мне – убью сгоряча!..» Но Колокольников не слушал ее просьб и угроз, смотрел зверем, надвигался на нее, плечо выдвинув вперед, напряженный, собранный, готовый к броску или удару. Вера схватила с буфета попавшую под руку тонкую вазу, жалкое, ненадежное оружие, цветы уронила на пол, наступила на них, истоптала хрусткую память об отшумевшем беспечном веселье, отступила к окну, размахивала вазой, грозила: «Опомнись, дурак! Убью! Всем расскажу! Сергею расскажу! И твоей девчонке в Силикатной!»

Колокольников ничего не слышал или не понимал, шел на нее, был уже рядом, и тогда Вера, губы скривив, плеснула Колокольникову в лицо, в глаза ему, будто соляной кислотой, цветочной водой из вазы, пахнувшей затхлым, жаль, что не в соляной кислоте держат цветы, жаль! Капли смахнув с лица, Колокольников замер лишь на секунду и двинулся снова. Вера вскинула вазу, закричала: «Убью!» – и Колокольников, остановившись, тоже закричал что-то, произнес какие-то испуганные и волчьи, проклятые слова, и в комнату вбежали трое – Рожнов, Чистяков и Лешенька Турчков. «Откуда они?» – возникла в Вериной голове мысль, и пришла другая, несуразная, тоже на миг: не ей ли на помощь явились из ночи парни? – но тут же Вера поняла, что не ей на помощь: и у этих троих были волчьи глаза. Вера метнулась к окну – оба окна были закрыты.

Вера рвала задвижку, но лишь заклинила, умертвила ее, выпустила вазу из рук, последнюю случайную защиту, последнюю надежду, никак не могла поверить, что все происходит не во сне и с ней, и тут сильные руки схватили ее, оторвали от окна...

6

Назавтра утром Вера лежала в своей душевной комнате и смотрела в окно. Вернее, она смотрела в сторону окна, но лишь на секунды понимала это и тогда видела отцветший развалившийся куст сирени у забора и небо, по-прежнему праздничное, голубое, с печальными заблудшими облаками, тающими на глазах. Именно это небо и было обещано никольскими старухами на долгие недели в жаркий троицын день.

Будильник на столе пощелкивал грустно и показывал время, когда привычная электричка отправилась в сторону Серпухова, та самая, что в дни утренних Вериных дежурств в больнице отвозила ее в Столбовую, и показывал время обеденное, а Вера все лежала.

Заглядывала мать, и не раз, но Вера говорила ей тихо и зло: «Уйди!»

Сестры дверь не открывали, даже Надька.

Мать Вера гнала потому, что боялась разговора с ней, боялась ее слез и ее сочувствия, боялась ее крика и ее проклятий, не смогла бы вытерпеть и простых тихих слов, которые называли бы то, что произошло с ней ночью.

Глаза у Веры высохли, она наплакалась всласть в рассветные часы.

Мысли ее были отрывочны, бились, отыскивая успокоения, но бежать им было некуда, и они возвращались к прежнему. Временами Вере казалось, что страшное ей приснилось, а наяву ничего не произошло, а если и произошло, то не с ней. Но боль, затихавшая ненадолго, приходила истиной.

Глаза Вера старалась не закрывать, потому что в ее мозгу тут же возникали лица тех четверых, каждого из которых она без жалости готова была сейчас убить. Она знала, что лица эти – наглые, растерянные, жалкие, волчьи – врезаны в ее память навсегда и забыть, стереть даже мгновенные выражения этих лиц она не сможет.

Парни разбежались, и Вера пробралась к родному сонному дому – знала тропинки и закоулки, где ничей взгляд не мог мазануть ее дегтем. Позже, часов в восемь, кто-то перекинул за их изгородь мятый вчерашний парик, мать принесла его в Верину комнату и положила на табуретку.

Положила молча, и Вера не знала, что у матери на сердце, ей показалось, что глаза матери в ту минуту были брезгливыми, и это Веру испугало. Ночью Вера плакала в своей комнате, лежала на кровати, пришла мать – то ли разбудили ее Верины всхлипывания, то ли она не спала вовсе, может быть, ее изводила бессонница предчувствий, – она пришла и, посмотрев на дочь, догадалась обо всем. Мать спросила: «Кто?» – и Вера назвала тех четверых, хотела уткнуться матери в грудь, выплакать: «Что же делать-то мне теперь?» – но едва мать присела к ней на кровать, она чуть ли не закричала: «Уйди!» – и после гнала мать.

Когда Вера перестала плакать, в мире, в поселке Никольском была тишина. Тишина и нужна была сейчас Вере, нужна, и надолго, она томила по ней, ждала ее с надеждой. Вчера Вера искала толпу, сегодня мечтала жить одной, совсем одной, на огромной земле одной, в тишине и без никого. Но тишина была недолгой. Зашумели, проснулись худенькие, крепкие июньские листья, распелись птицы, крикливые и сладкие, каждая с гонором и умением виртуоза. Вера раньше их вроде бы и не слышала, теперь же их оказалось удивительно много, и они звенели, разбив, разнеся тишину вдребезги, и весь воздух в Никольском, нагретый встающим солнцем, наполнился звуками, зашелестел, засвистал, забулькал, будто бы вскипел, и кипел так долго без умолку, шумел, словно оставшийся без присмотра чайник. Вера вдруг удивилась тому, что она способна сейчас слушать пение птиц и шелест листьев, и еще больше тому, что звуки сегодняшнего утра действительно напомнили ей кипение воды в чайнике. Впрочем, эти звуки она еще могла терпеть, но потом проснулся поселок Никольский, завел свою петую-перепетую песню, слышанную сотни раз, принес запахи деловитого,

суетливого завтрака, захлопал в нетерпении калитками, потянулся на работу и на подсобный промысел, и Вера опять ощутила, что – все, как себя ни успокаивай, ни от чего, что с ней случилось, она уже не сможет уйти. Ночь была и будет с ней навсегда.

Снова видела Вера ненавистные лица тех четверых и фамильные фотографии на стене столовой Колокольниковых, видела согнутые спины убежавших парней, представляла она и себя, бредущую никольскими закоулками с позором домой, жалкую, оборванную, погубленную, ей делалось жутко. Но время шло, и тяжелее боли, мучительней мыслей о том, что с ней случилось, становились думы о том, что с ней будет.

Она и не пыталась представить себе дальнейшую свою жизнь, наоборот, она гнала в испуге непрощенные озарения, вспыхивающие в мозгу мгновенные, но и подробные картины будущих несчастий, она знала, что судьба ее сломана и помочь ей никто не сможет. Хотя бы она попала под машину или электричка проволокла бы ее по бетонным ребрам полотна, отрезала бы ей ноги, сделала бы ее уродом, калекой, только не это... Ей было больно, стыдно, мысль о том, что рано или поздно ей придется выйти из дома, ее страшила. Еще вчера ей было безразлично, как к ней относятся никольские жители, осуждают они ее или любят, сейчас же в воображении ее возникали многие из них, причем и малознакомые, – одни из них смотрели на нее презрительно, чуть ли не собираясь при этом плюнуть, другие ехидничали, острые, как камни, и меткие слова бросали в нее, третьи сочувствовали, но так, будто терли наждачной бумагой по кровоточащим рваным ранам. Помнила Вера и о девочках из ее медицинского училища, и о преподавателях, и о сослуживцах из ее больницы, – все они, все до единого не сегодня, так завтра, в счастливые свои часы, должны были узнать, что случилось с Верой Навашиной. Любой человек мог теперь шепнуть, показав пальцем в ее сторону: «Вон, обрати внимание на девицу. Знаешь, она...» Но все это были дальние люди... мысли же о том, как у них все пойдет дальше с матерью и Сергеем, были совсем скверными, тут уж Верино несчастье разбухало, становилось огромным и безысходным, и являлось отчаянное, сладкое желание оборвать все. Но Вера знала, что она не сможет наложить на себя руки, и не из-за малодушия, а из-за того, что тех четверых было необходимо, ради справедливости, наказать, и сделать это должна была она, и никто другой. Она ненавидела их и была уверена, что не успокоится, пока не отомстит им, пока не увидит, что и им, сволочам, плохо. Она называла их предателями, бандитами, подонками, в минуты сомнений пыталась выяснить, припомнить, не виновата ли в чем она сама, и выходило, что ни в чем не виновата. А может быть, и виновата? Она ругала себя за безрассудное вечернее веселье, за неумение блюсти себя, но ведь ни вчера, ни раньше она не выказывала себя как продажная, доступная женщина, не напилась же она до бесчувствия и бесстыдства, была трезва, все помнит, а если и шутила с Колокольниковым, то так, легко, не всерьез, и он должен был понять это. Парни вели себя вчера как подонки, предатели и бандиты, и умягчить свое теперешнее отношение к ним Вера не желала.

Как она будет мстить четверым, Вера не знала. Она знала одно: раз они погубили ей жизнь, значит, и их жизни должны стать не слаще. При этом она считала, что мстить обязана сама. Те четверо – преступники только для нее, и только она для них милиция, суд и палач. Она сознавала, что все происшедшее с ней, ее страдание и ее позор могут заведенным порядком попасть в настоящую милицию и настоящий суд, и это было бы худо, потому что тогда в ее дело, в ее жизнь, в ее душу вмешались бы чужие, посторонние люди, которые все равно не смогли бы поставить себя на ее место и прочувствовать все, как прочувствовала она, а только бы измучили ее своим должностным интересом. Даже если бы они и поняли, в конце концов, все по справедливости, и тогда, казалось Вере, вряд ли бы они смогли заплатить ее погубителям по ее счету. И Вера решила твердо, что все устроит сама, не страшась последствий. Единственно, кто имеет право ей помочь, – это Сергей, если, конечно, он все поймет, поверит ей и захочет помочь.

Последнее Верино соображение вдруг раздробилось. «Ну да, – подумала она, – если, конечно, он захочет...» – и в этих невысказанных вслух словах был вызов Сергею: посмотри, на что окажется способен в горькую минуту этот парень и что вообще он за человек! Вызов был искренним, но с долей наигрыша и отчаяния, и тут же Вера испугалась за Сергея, испугалась, как бы он, узнав обо всем, сгоряча не пустился в рискованные затеи, он здесь ни при чем, зачем ему-то ломать жизнь, это ей хочешь не хочешь, а надо давать сдачи. Однако новая мысль обдала Веру холодом: «А если он не погорячится, не бросится искать обидчиков, значит, он не любит меня, да?» И тут Вера поняла: тревожит, жжет ее ожидание не того, как отнесется Сергей, вернувшись из Чекалина, к четверым, а как он отнесется к ней, поймет ли ее по правде, обнимет, скажет ли, успокаивая: «Здравствуйте пожалуйста, извините, что пришел», или отвернется в презрении. «Ну и пусть, ну и пусть отвернется, – подумала Вера мрачно, заранее обидевшись на Сергея, – уж как-нибудь одни проживем, обойдемся...»

Слезы появились на Вериных глазах, и она принялась рассуждать, как придется ей жить без Сергея и вообще как ей придется жить дальше: ведь она уже решила, что – все, что жизнь ее погублена, и если бы не нужда мстить, надо было бы убить себя, и вот, положив на душу такое, она тем не менее теперь высматривала свое будущее, и в том будущем она существовала, пусть не в ярких, цветастых платьях, пусть в черных и дешевых, но существовала и не собиралась ни исчезать никуда, ни прятаться от людей.

«А чего я буду прятаться-то от людей? – подумала Вера. – Я ни в чем не виновата. Я опозорена, но я ни в чем не виновата...» И она посчитала, что нигде – ни в поселке Никольском, ни в Москве, ни в каком другом месте – она не должна появляться такой, какой она себя чувствовала теперь, – униженной, разбитой, опозоренной. Она решила, что, наоборот, повсюду будет прежней, независимой, шумной, в случае нужды не полезет за словом в карман, не станет опускать голову, не подаст виду, если заметит чьи-нибудь жалостливые или брезгливые глаза. А появившись она на улице несчастной, заплаканной, с печатью позора на лице, так сейчас же посчитают, что она-то во всем и виновата, напилась и согрешила, а те четверо – совращенные ею херувимы. И станут сочувствовать тем четверым, а уж она будет клейменной навек. «Ладно, – сказала себе Вера, как ей показалось, твердо, – хватит... Надо жить дальше».

Она встала с намерением привести себя в порядок, пересилить боль и бесконечные, неотвязные мысли, смыть с себя следы вчерашнего позора, вчерашней жизни. Она сняла разорванное красное платье, надела чистое, стиранное недавно, простенькое, но не траурное, в зеркало не глядела, не видела синяков и ссадин, не хотела их видеть, а они давали о себе знать. Одевшись, Вера покосилась на дверь, к умывальнику в сени надо было идти через столовую, но там могли быть сестры и мать, а встретиться с ними Вера сейчас не хотела. Она тихо, морщась от боли, вылезла в окно, обогнула дом, беззвучно пробралась к крыльцу. В сенях было пусто, Вера умывалась не спеша, со старанием намочила волосы, чтобы потом придать им, мокрым, хорошую форму. Она вернулась в свою комнату опять же через окно и, усевшись на стул, долго не двигалась с места. Ей было тяжело и мучительно, в горле стояла тошнота. Потом Вера достала свои кремы, помаду, краску для ресниц и лак для маникюра, но взглянула в зеркало и ужаснулась, руки опустила. Бледная, несчастная, в синяках и царапинах, с оплывшим глазом, она походила на горемычную пропойцу, которая то ли вернулась недавно из вытрезвителя, то ли еще держала туда путь. Руки парней оставили следы на ее лице, а может быть, и каблук французской лакированной туфли, отчаянного оружия бывшей подруги, которая уж непременно все знает и наверняка радуется Вериному несчастью, а то и судачит о нем со знакомыми и незнакомыми людьми. «Дожила, доплясалась», – горестно вздохнула Вера, лицо ладонями закрыла, и опять тоска, безысходная, свинцовая, прихлынула к ней. «Докатилась, похожа-то на кого...» И тут Вера поняла, что она пыталась привести себя в порядок, вернуть прежний свой облик, а главное – прежнее самоощущение,

через силу, и вот не потянула. Вера легла на кровать и закрыла глаза. Двигаться она не могла, идти куда-то уже не хотела. Она подтянула ноги, сжалась, будто от холода, сама себе казалась сейчас такой маленькой, несчастной и затравленной, беззащитной зверюшкой, окруженной яростными, иступленными охотничьими собаками – пена на губах, клыки остры и безжалостны, – и весь мир представлялся Вере враждебным, все люди были теперь ее врагами, даже мать и Сергей.

Полежав немного, Вера все же встала и попыталась, не глядя в зеркало и даже на свое смутное отражение на оконном стекле, поправить прическу и вроде бы ее поправила, потом она снова улеглась на кровать, но так, чтобы волосы не примять, и опять явились к ней мысли горькие, путанные, скачущие, тоскливые. Тут в соседней комнате заговорила мать и еще кто-то, тише матери.

– Вера, к тебе пришли, – сказала мать, приоткрыв дверь, сказала сухо, как чужой человек.

– Кто еще пришел? – проворчала Вера.

– Нина пришла.

«Как пришла, так пусть и уходит», – хотела сказать Вера, но не успела – мать затворила дверь. Вера повернулась к стене, закрыла глаза, хотела притвориться спящей, но раздумала. Встала, нашла туфли на высоком каблуке, надеялась, что они улучшат ее осанку, вытерпела свое отражение в зеркале, причесалась – волосы лежали теперь хорошо, – поправила платье и вышла в столовую. Сказала Нине сердито:

– Ну, ты чего?

– Я?... – растерялась Нина.

Мать стояла у буфета, протирала вымытые тарелки и стаканы, ставила их на привычные места и видом своим, намеренно спокойным, давала понять, что в разговоре участвовать не будет, что все случившееся со старшей дочерью ее не заботит, пусть печалится именно старшая дочь, да и вообще пусть эта дочь существует сама по себе.

– Верка! – воскликнула вдруг Нина, бросилась стремительно к Вере, обняла ее худенькими крепкими руками, прижалась к ней и заплакала.

Вначале Вера хотела оттолкнуть Нину, но что-то дрогнуло в ней, она, вопреки своим желаниям, обняла подругу, и несколько минут они стояли рядом, уткнувшись друг в друга, и Вера теплела, слыша Нинино дыхание на своем плече.

– Ну ладно, – сказала Вера, – глаза промочили – и хватит...

– А-а-а! – в безысходности махнула рукой Нина.

– Ну что ты как на похоронах, – сказала Вера. – Давай сядем.

Когда присаживались, Вера заметила, что матери в комнате нет, то ли она ушла из деликатности, чего, впрочем, от нее ожидать было трудно, то ли и вправду решила устранить себя от забот и печалей дочери, опозорившей семью. Однако мать могла и вернуться...

– Ты уж держись, Верк, – сказала Нина, и улыбка, благостная, обнадеживающая, появилась на ее лице.

– А что мне делать, как не держаться, – сказала Вера мрачно.

– Я все знаю... Вот ведь гады!

Эти слова Веру расстроили, в ней еще жила надежда, что никольские жители пребывают в неведении и считают ее прежней Верой Навашиной. Вера хотела спросить, что именно Нина узнала и от кого узнала, но Нина снова заговорила:

– Верк, ты меня прости...

– За что?

– За вчерашнюю драку...

– Я и всерьез-то ее не приняла. – Слова эти Вера произнесла небрежно, удивляясь Нининому извинению, будто бы и вправду не приняла вчерашнюю стычку всерьез и даже забыла о ней, но тут же поняла, что Нина ей не поверила.

– Не надо, Верк... Я у тебя прощения прошу, а ты уж как знаешь... Насчет Сергея я выдумала, сама не знаю зачем... Так, явилась вчера минутная блажь, с дури, наверное... может, от зависти...

– А если бы со мной не случилось беды, – сказала Вера сурово, – ты бы, наверное, и не пришла? Если ты из жалости, так не надо...

– Может, в другой день и не пришла бы, правда. А вот сегодня пришла. – В голосе Нинином звучала обида. – И прощения прошу не для того, чтобы тебя успокоить, а для того, чтобы себя успокоить. Все, что говорила о Сергее, – глупости, ложь, даю честное слово. Твое дело верить. Просто я психопатка какая-то стала, вот и все...

– Ну и ладно, ну и хорошо, и ты меня извини, что не сдержалась, и давай забудем...

– Верк, ты-то меня простишь, а я-то себя не прощу, – заявила Нина горестно, – все ведь это из-за меня случилось...

– То есть как из-за тебя? – спросила Вера, похолодев.

– Из-за меня. Если бы я не поругалась с тобой, а пошла бы гулять, ничего бы не произошло...

– Глупости ты говоришь!

– Я знаю, – сказала Нина грустно и в то же время значительно, словно ей была открыта печальная тайна. – Я знаю. Я виновата. Я всю ночь заснуть не могла, все меня предчувствия мучили, будто с тобой что-то стряется. Не с кем-нибудь, а с тобой. Но я злилась на тебя и не пошла спасать тебя... Уж я казню себя, клянусь последними словами...

– Выбрось это из головы и не смей меня, – сказала Вера и, увидев, что Нина сидит поникшая, видно всерьез поверившая в свою вину, добавила, волнуясь: – Нин... Я тебя люблю как сестру, и ничего между нами не изменилось. Вот...

– Спасибо, Верк! – обрадовалась Нина. – Ты на меня рассчитывай, если что надо...

Тут Нина замолчала, и Вера молчала, любые слова были лишними, своей земной определенностью они могли только испортить, уменьшить и даже оскорбить то, что переживали сейчас Нина и Вера, сидели они растроганные, с влажными глазами, и каждой хотелось сделать подруге что-нибудь доброе и хорошее, при этом не остановила бы и необходимость жертвы.

– Это они тебе синяков наставили, бедной? – сказала Нина с нежностью и состраданием. – Или я?..

– Может, и ты, – сказала Вера. – Я ведь тебя тоже, наверное, отделала?

– Уж отделала, – засмеялась Нина, будто Вера напомнила ей о чем-то приятном, – уж отделала. Видишь, я даже платье закрытое надела сегодня. А ведь жарко.

– Жарко...

Действительно, Нина была в темно-синем льняном, с прожилками лавсана, платье, гладком, строгом, с длинными, расширенными внизу романтическими рукавами. Платье было Вере незнакомое, покрой его подходил к купленной вчера сумке, но сумки на Нинином плече не было, и Вера решила, что подруга нарочно не взяла сумку, чтобы ни о чем не напомнить. Но тут же Вера подумала, что сумка коричневая и никак бы не подошла к цвету платья и сегодняшнему цвету Нининых волос, а гармонию Нина бы не нарушила.

– Ну как сумка-то? – спросила Вера.

– Сумка-то? Лежит. Ждет своей поры.

– Что же так?

– У меня к ней ничего нет. Шить надо. На той неделе, может, сошью.

Дверь открылась, и вошла мать.

Вера взглянула в ее сторону и смутилась: мать, наверное, слышала слова о сумке, а они не могли не показаться ей сегодня легкомысленными и бесстыдными. Нина уловила Верин взгляд, посмотрела на Настасью Степановну, потом снова на Веру, хотела выправить разговор, но ничего не успела сказать.

– Может, есть чего-нибудь будешь? – спросила мать.

– Нет аппетита, – сказала Вера.

– Ну хоть чаю тогда или молока стакан. Соня козу подоила...

– Не хочу. Будет настроение – сама поставлю чайник. Делов-то...

– Ну смотри.

– Чего ты на мать рычишь-то? – шепнула Нина, прежде подол Вериного платья потеряв.

– Да так, – мрачно сказала Вера.

Мать возилась с какой-то тряпкой, с которой и возиться-то не было нужды, правда, может, из-за своей фамильной любви к чистоте она собиралась протереть в десятый раз пол в сенях, или на террасе, или на крыльце, наконец она направилась к двери, и тут ее прорвало.

– Дожили до праздничка! На старости лет мне доченька радость приготовила!

Не обманув Вериных ожиданий, мать обращалась при этом не к ней, а к Нине, как к безусловному своему союзнику, в уверенности, что Нина непременно поддержит ее. Вера же матери отвечать сейчас не хотела, знала, что только распалит ее, пусть уж выговорит накопившее и смягчится, да и что, собственно, она могла сказать в ответ?

– Срам-то на всю Россию! И на сестер позор ляжет, и на меня! В поселке только и разговоров что про Навашину! С отцом шелапутным и то не случалось таких скандалов... Выросла нам на беду!..

Она и дальше шумела, обзывала Веру оскорбительными словами, которые Веру, несмотря на то что та готова была принять на свой счет сейчас все, обижали, выкрикивала и ругательства, хотя обычно стыдилась грубостей и дочерям старалась привить брезгливость ко всяким крепким выражениям и к матерщине.

– Ну ладно, хватит, – сказала Вера, – что ты на меня орешь, будто я виноватая?..

– А кто же еще виноватая? Может, я виноватая или вот Нина виноватая?! Ты и ее-то, подружку свою, вчера отлупцевала, все уж в поселке знают! Была бы скромная да работающая, как мы росли, никакого бы позора не вышло!

– Ну что вы, тетя Настя, – сказала Нина, – ну зачем вы так? У Веры беда случилась, ни в чем она не виноватая, я-то знаю, и со мной такое могло произойти, и с любой. Парней судить надо, а вы на Веру такими словами...

– Не виноватая, как же! – все еще не могла остыть мать. – Взять бы плетку хорошую да отлупить как следует! И теперь вот – я ей правду говорю, а она на меня: «Что ты орешь?» Матери так! Слова ей сказать нельзя.

– Ну ладно, хватит! – не выдержала Вера. – И разгульная я, и не работающая! Хватит!

Она почти кричала на мать, хотя и намеревалась вытерпеть ее речи до конца, понимала, что кричит сейчас, как уже огрызалась и ворчала на мать нынешним утром, не от обиды на нее, а из чувства самозащиты, она была готова признать справедливость многих слов матери, но слышать эти слова не могла.

– Чего это ты так кипишь-то? – сказала Вера. – Со мной все случилось, а не с тобой. Со мной! Поняла? Я и без твоих оскорблений переживаю...

– Переживает! Жизнь обдала ее ведром помоев с головы до ног, вот она и запереживала! Раньше переживать надо было...

– Ну что вы... ну зачем вы... – робко попыталась Нина успокоить мать и дочь.

– Ну ладно, давай кончим, – сказала Вера твердо. – Потом, если пожелаешь, мне все выскажешь с глазу на глаз, а над Ниной-то зачем гроыхать? Стыдно ведь...

– Стыдно... За тебя стыдно! Нина свой человек, а я и при любых людях правду тебе выскажу. – Мать еще горячилась, но уже направлялась к двери.

– Помолчи, помолчи, – шептала Нина, дергая Веру за платье.

У двери мать остановилась, словно бы собираясь сказать самые важные и грозные слова, но только махнула рукой и вышла из комнаты.

Тут же всунула в дверь голову Надька, и наглые, отцовские глаза в любопытстве уставились на Веру.

– А ну пошла отсюда, – крикнула на нее Вера, – а то сейчас запущу чем-нибудь! И дверь закрой.

Помолчав, Вера вздохнула:

– То ли будет впереди...

– Чегой-то мать-то твоя? – сказала Нина. – Вроде бы она тихая...

– Тихая-тихая, а вот иногда вскипает...

– Ничего, Верк, все обойдется, – на всякий случай сказала Нина, но не очень уверенно.

– А что обо мне говорят?

– Разное говорят, – уклончиво сказала Нина. – Многие сочувствуют тебе, но ведь есть и знаешь какие люди – им бы только чтобы у соседа коза в кошку превратилась...

Тут Нина замолчала, и Вера не услышала, кто именно эти люди и что они думают и говорят теперь о ней, но спросить об этом у подружки не решилась.

– А узнали как?

– Чтобы в Никольском, да и не узнали! Тогда бы светопреставление началось!

– Боже ты мой! – Вера закрыла лицо ладонями. – Как жить-то дальше? А, Нинк?

– Перетерпеть надо, Верк, – сказала Нина убежденно, – зубы стиснуть и перетерпеть, а там жить дальше. Не в монастырь же идти. И монастырей-то теперь нет. И потом – ты, что ль, виновата? На тебе греха нет.

– Ты-то хоть веришь в то, что я ни в чем не виновата? – сказала Вера, волнуясь, будто от Нинино ответа зависела теперь ее жизнь.

– Верю, Верк, я тебе как себе верю.

– Спасибо, Нин, спасибо, – обрадовалась Вера. – Знаешь, как я довольна, что ты пришла.

– Что же, я не человек, что ли? – сказала Нина растроганно.

– А Колокольников? – спросила Вера.

– Что Колокольников?

– Он как? – Вера вспомнила теперь о Колокольникове, к нему у нее был особый счет.

– Не знаю. Сбежал куда-то. И его, и Чистякова, и Рожнова в Никольском сегодня нет. Один Турчков здесь. Сидит дома.

– Ты его видела?

– Видела.

Вера хотела сказать что-то, но вдруг ощутила, что говорить ей о тех четверых тошно и стыдно.

– Я когда узнала о тебе, – сказала Нина, – мама принесла с улицы новость, я тут же хотела бежать к тебе, да забоялась, как бы ты не выгнала меня после вчерашнего. Я сидела, переживала и тут надумала найти этих... да в лицо каждому плюнуть. Пошла. Колокольникова нет, Чистякова нет, домашние их взвинчены, парни, наверное, от страха и стыда сбежали. Одного Турчкова я и застала. Мать его в дом меня не пускала, а я громко так заявила: «Если он не трус, то пусть сам выйдет». Вышел. Бледный, лохматый. Я ему: «Леш, правда, что вот то-то и то-то говорят?» Он только глаза отвел. Я ему молча пощечину залепила и пошла. Мать его догнала меня, начала говорить, что это жестокость, что он мучается сам и они боятся, как бы он в петлю не полез...

– Он может, – сказала Вера.

– Может, – согласилась Нина. – Да их прибить мало. Я бы этого Колокольникова да Рожнова...

– А я им устрою, – сказала Вера.

Тут Нина, посмотрев на нее, насторожилась. Последние слова Вера произнесла тихо, скорее для самой себя, взгляд ее был отрешенный, а голос спокойный и твердый, стало быть, Вера приняла решение, и решение это уж не мучило и не жгло ее, не кололо сомнениями, оно остыло, лежало в душе холодным металлом, и Вера не могла и не хотела от него избавиться. Нина знала, что Вера, шумливая, горячая, бывала прежде отходчивой, а теперь, судя по всему, она могла пойти на отчаянное предприятие, и оно уж не довело бы ее до добра.

– Ты что, Верк, – заговорила Нина испуганно, – ты что придумала?

– Ничего, – сказала Вера.

– Нет, ты брось, Верк, я ведь вижу! Ты не хочешь мне сказать?

– Ты не обижайся. Но тут дело только мое и ничье больше.

– Ну и глупо! Себя погубишь и близким отравишь жизнь. Подумай хоть о матери и сестрах... Как они будут без тебя? И зачем тебе руки об этих гадов марать? Суд все сделает...

– На суде меня измучают больше, чем их.

– Нет, Верк. Сегодня же надо ехать в район, в милицию, подать заявление, и к врачам. Если не поедешь, я сама возьму и съезжу...

– Ну и предашь меня.

– Эту твою глупость я всерьез не принимаю. Поверь, если бы я считала, что ты собираешься поступать правильно, я бы тебе помогла и риску бы не испугалась – когда надо, я не трусливая, ты знаешь, но тут ты не права.

– Ну и хорошо, – сказала Вера обиженно, – не права, ну и хорошо...

– Сразу надулась, – сказала Нина. – Ты хоть подумай, не спеши...

Вошла мать.

И Нина, и Вера скосили глаза в ее сторону, ожидали новой бури, но слов никаких не было произнесено, и тогда Нина встала.

– Мне пора на работу. Как вернусь, сразу сюда забегу. Ты, Вера, не права, ты все взвесь, – тут Нина остановилась, испугавшись, как бы Настасья Степановна не учуяла в ее словах чего-либо дурного или тайного, и, помолчав, добавила: – Вы уж, тетя Настя, с Верой не ругайтесь. Не надо сейчас.

– Я тебя провожу чуть-чуть, – сказала Вера.

Нина уходила, Настасью Степановну перед тем за плечи обняв: мол, тетя Настя, все обойдется-образуется. Вера остановила подругу в сенях, стала говорить, смущаясь собственной слабости, страдая оттого, что открывала Нине запретное, обнажала свою неотвязную тревогу, которую держать бы ей про себя, но и держать про себя не могла, и ждала теперь, чтобы Нина успокоила и обнадежила ее.

– Знаешь, Нинк, чего я боюсь-то? – говорила Вера, волнуясь. – Вот Сергей приедет и все узнает...

– Ну и чего?

– Ну как чего? Как у нас будет-то с ним?..

– Если он от тебя отвернется, значит, и цена ему грош. И жалеть тогда о нем не стоит.

– А может быть, он и не отвернется, а все равно не будет уже ничего хорошего...

– Не надо, Верк, вот помани мое слово, все хорошо у вас сложится.

Уходя совсем, она шепнула Вере:

– Верк, я за тебя боюсь. Слово дай, что ничего не выкинешь, пока не вернется Сергей.

А?

– Ладно, – сказала Вера, – хватит об этом.

Нина ушла, уехала, спасибо ей, подумала Вера, в электричке она еще погорюет о тяжелой судьбе подруги, а потом московская жизнь отдалит от Нины Верины беды, и ничего тут не поделаешь. Вера вздохнула. Вошла в комнату. Мать сидела у стола.

– Ну что, – сказала Вера, предупреждая атаку матери, – обязательно при людях надо устраивать крик?

– Садись, – сказала мать.

– Ну села. И что дальше?

– Ты можешь говорить мне все, что хочешь, можешь наплевать на мать, но дурь из головы выкинь. И не злись. Нина тебе советовала правильно.

– Чего она такое советовала?

– Сейчас же ехать в город.

– Никуда я не поеду, – хмуро сказала Вера.

– Поедешь. Что ты задумала? Мстить, что ли?

– Мое дело.

– А обо мне с девчонками вспомнить не желаешь? Что с нами-то станет?

– Вас не убудет.

– В тюрьму ведь сядешь!

– Я и сяду, а не ты с ними.

– Вера, не дури, – сказала мать, – я тебя прошу.

Тут Вера взглянула на нее и увидела, что губы у матери дрожат, а глаза влажны, и всякое желание дерзить матери пропало, следовало ей успокоить мать, произнести какие-нибудь ложные слова, чтобы она хоть на минуту посчитала, что Вера готова отказаться от своих намерений, но слова подходящие не явились.

– Девчонки-то маленькие, – сказала мать, – а могут одни остаться. Как проживут-то?

– С чего вдруг одни?

– Мне в больницу ложиться надо, – сказала мать.

– Ты что?

– Я уж вам не говорила, не пугала раньше времени...

– С чего ты взяла, что в больницу?

– Я у врачей была. Обследовали и велят...

– У каких врачей?

– У разных. И у... – Мать замолчала.

– И у кого? – В горле у Веры стало сухо.

– У онколога.

– Они что?

– В больницу велят ложиться. Операцию делать...

– Ты что! Ты врешь! – крикнула Вера. – Чтобы я в милицию пошла, да?!

– Я тебе никогда не врал. Вспомни, когда я тебе врал? С отцом меня не путай.

– И за что же такие напасти на нашу семью! За что!

Волком взвыть хотелось Вере, застонать на весь поселок Никольский, тупое отчаяние забрало ее – что же это делается-то и почему? Но мать сидела напротив Веры тихая, губы ее уже не дрожали, слез не было в ее глазах, а было спокойствие, объяснить которое Вера могла только тем, что мать все передумала о себе, ничего не став выпаривать у судьбы, а теперь ее заботило лишь будущее дочерей, и, поняв это, Вера не застонала и не заплакала. Она старалась теперь успокоиться, обнадежить себя хоть бы мыслью о том, что у матери вдруг не самое страшное, но спросить о болезни долго не решалась. Сказала наконец:

– А диагноз они тебе какой поставили?

– Они, может, и сами не знают. Надо операцию делать, а там уж увидят, доброкачественная или какая...

– Конечно, доброкачественная, – быстро сказала Вера, – сделают операцию, и все обойдется... Сколько случаев знаю!

– Дай-то бог, – сказала мать, вздохнув.

Вера встала.

– Насчет меня будь спокойна. Ничего я дурного не выкину. Не хотела я в милицию, но пойду. Пусть будет по закону.

Мать тоже встала.

– Оно и лучше так.

Вера бросилась к матери, обняла ее, заплакала:

– Что же делать-то нам с тобой, мамочка моя? За что же нас так?

7

Город стоял в тридцати трех километрах от Москвы, сорок, а то и меньше минут электричкой, и норов имел уже столичный.

Мать шла чуть впереди, ступала твердо, а когда оглядывалась, никаких слов не говорила дочери. Лицо ее было суровым и спокойным. Вера удивлялась этому спокойствию матери, мать вообще казалась ей сейчас преображенной. Вера привыкла видеть ее застенчивой и тихой на людях и уж тем паче во всяких казенных учреждениях, в крови ее была робость крестьянки перед присутственными местами, теперь же мать стала решительной и сильной, даже ступала по земле она иначе, чем прежде, как будто выросла, словно бы стараясь заслонить собой дочь, уберечь ее от дурных взглядов и слов. Вера шла за ней и ощущала себя побитой десятилетней девчонкой, которая без матери – ничто, чувство превосходства над ней, жившее в Вере в последние годы, исчезло вовсе и казалось постыдным. Вера думала теперь о матери с нежностью, страх, вызванный известием о болезни матери и скорой операции, не уходил и охлаждал ее. Теперь, когда она смотрела на мать, плохо одетую, странную в городской толпе в своем вдовьем, провисшем на плечах, ношеном платье, тяжелым для Веры было воспоминание о вчерашнем легкомыслии и обмане – пообещала купить матери что-нибудь хорошее и нужное, а сама принесла ей беду. Впрочем, несколько успокаивали Веру, как ни странно, мысли о собственной беде, о собственном страдании, то есть не то чтобы успокаивали, а как бы уравнивали в ее глазах тяжесть их с матерью положения. И тем самым и смягчали ее перед матерью вину. «У тебя жизнь может оборваться, тебе горько, но ведь и мне не слаще, и я страдаю...»

Сердцевина города, сложенного из заводских поселков, временем и случаем разбросанных по обе стороны железной дороги, была тесна и мала. Четыре улицы с учреждениями и магазинами, километра в полтора каждая, расходились от муравейника вокзальной площади к излучине Московского шоссе. В прежние дни Вера облетывала городской центр и на пляж спускалась к запруженной реке за двадцать минут, нынче же – годы тянулись.

Они с матерью шли в милицию. Вера никак не могла взять себя в руки, наоборот, она волновалась все больше.

В милицейском доме было сумрачно, пахло сыростью и еще каким-то особым запахом, словно бы это был запах деловитой озабоченности учреждения. В коридорах было пусто, редкие люди в форме и в штатском шагали мимо быстро и молча. Дежурный посоветовал Навашиным подняться на второй этаж и зайти в следственный отдел. На лестнице Вера остановилась, сказала:

- Заявление надо написать. Что же мы так, с пустыми руками, придем?
- Пошли, пошли... Сначала расскажешь, а потом напишешь, что скажут.
- Нет, надо.

Матери следовало бы понять, что рассказывать Вере милиционерам о том, какая с ней вчера приключилась беда, – все равно что прикладывать к коже раскаленный утюг, куда легче было бы без слов положить на стол в следственном кабинете бумажку – и пусть решают, как хотят.

- Хорошо, – сказала мать, – пиши заявление...

Но тут же добавила сердито:

- Дома, что ли, не могла...

– Мало ли кто чего мог! – огрызнулась Вера, огрызнулась вновь от собственной слабости.

В полутемном углу стоял круглый, покрытый стеклом столик. Вера достала ручку из сумки, но бумаги, естественно, не оказалось. Вера жалостливо поглядела на мать, та вздох-

нула, проворчала справедливые слова и пошла по коридору в соседний кабинет. Принесла два листа бумаги.

Вера ей даже не сказала «спасибо». Ей было сейчас не до матери, она мучилась над листом бумаги.

– Сколько ж слез-то над этим столиком пролито было, – сказала мать, – сколько ж горя человеческого тут записано было... Тяжелый дом-то этот, слезный. Как больница...

– Что больница? – не поняла Вера. – Я не знаю, чего писать...

– Как было, так и пиши...

Долгим был Верин труд над слезным столиком, подсказки матери казались неразумными и только раздражали ее; если уж рассказывать все случившееся по порядку, тетради не должно было бы хватить, но слов у Веры нашлось лишь на полстранички, и никак она не могла подобрать главное слово, которое бы назвало то, что с ней сделали четверо, все выражения, приходившие в голову, были плохими – или обидными для нее самой, или уж совсем не крепкими. Наконец Вера придумала: «...и тут они меня опозорили». Она посидела над этими словами, кручинясь, а поставив подпись и число, даже обрадовалась, будто сбросила с плеч тяжкую ношу, но тут же расстроилась, сообразив: «Чему радуюсь-то!»

– Ну вот, вроде и все.

К начальнику следственного отдела очереди не было, а лучше бы она была. У двери Вера остановилась, словно забыла что-то важное и теперь старалась вспомнить это важное, но мать не позволила ей отступить и открыла дверь.

В кабинете были капитан и старший лейтенант. Капитан сидел, а старший лейтенант стоял и как будто бы собирался уходить.

– Можно зайти? – спросила мать робко.

– Вы уже зашли, – сказал капитан. – Что у вас?

– Вот. Заявление, – сказала Вера, подошла к столу.

Капитан взял исписанный ею листок, стал читать. И старший лейтенант, собиравшийся уходить, вернулся к столу и тоже взглянул на Верино заявление. Тут пошли минуты для Веры печальные, ей было стыдно и горько, сейчас они прочтут, думала она, сейчас они все узнают о ней и составят мнение как о последнем человеке, как о пропащей женщине, сейчас они отчитают ее и станут мучить вопросами. Особенно боялась Вера теперь старшего лейтенанта, пожилого, грузного, боялась и стыдилась его, ей казалось, что он, читая ее заявление, ухмыляется, не верит ей, презирает ее, и ему-то, наверное, и поручат заниматься ее делом. Господи, до чего тошно!

– Да-а, – сказал капитан.

– Там, наверное, не так написано, – заторопилась мать, – мы все расскажем. Вы нам объясните, что написать, мы перепишем...

– Да нет, тут ясно, – сказал капитан. – Для начала ясно.

– Возраст не указан, – поднял голову старший лейтенант.

– Да, да, – кивнул капитан, – вот возраст вы, пожалуйста, укажите.

– Чей возраст? – спросила Вера.

– Ваш.

– Это с какого года, что ли, я? – спросила Вера.

Вовсе она не хотела прикидываться дурочкой, просто растерялась.

– Ну да, – кивнул капитан.

– С пятьдесят третьего я.

– С пятьдесят третьего? – удивился старший лейтенант.

Тут и капитан удивился, поднял на Веру глаза, а затем они переглянулись и со старшим лейтенантом. «Что ж они во мне увидели такого занимательного? – подумала Вера. – С какого же я еще года должна по-ихнему быть?»

– Несовершеннолетняя... – протянул старший лейтенант, и что-то в нем погасло.

– Да, несовершеннолетняя, это она такая здоровая у меня вымахала, не по летам, – сказала мать, заулыбалась при этом заискивающе, как бы прося извинения за то, что дочь ее своим видом ввела милицию в заблуждение.

– Наши дети нынче быстро растут, – вздохнул старший лейтенант.

– А вот тем четверым, – спросил капитан, – а им по сколько лет?

– По сколько... – задумалась Вера. – Я не знаю точно, по сколько.

– Они взрослые или тебе ровесники?

– Они взрослые, – сказала Вера. – Но есть и мне ровесники... Ну, Рожнову вроде девятнадцать. А другим по семнадцать. Мы ж на рождении Турчкова гуляли, а ему сравнялось семнадцать... Я разве не написала?

– Значит, Борис Иванович, надо направить в прокуратуру, – сказал капитан.

Что-то изменилось в отношении к ним милиционеров, так показалось Вере, что именно изменилось – она не могла сказать, но изменилось.

– Так это... – неуверенно проговорила мать, скорее всего для того, чтобы напомнить о себе с дочерью и продолжить разговор, в котором, на ее взгляд, пока ничего существенного сказано не было.

– Сейчас мы направим вашу дочь, – сказал капитан, – на судебно-медицинскую экспертизу. Сержант вас проводит... Потом, сегодня же, наши работники проведут в Никольском в вашем присутствии оперативно-розыскные действия на месте происшествия. Вашим делом не мы будем заниматься, а районная прокуратура, скорее всего следователь Шаталов, он вас вызовет...

– Да, наверное, Шаталов, – рассеянно произнес старший лейтенант, он думал о чем-то своем и казался опечаленным.

– А когда же этих-то в тюрьму заберут? – спросила мать. – Не сегодня, что ли?

– Прокуратура во всем разберется, – сказал капитан, – она и определит меру пресечения...

– Нам теперь в прокуратуру идти? – уныло спросила Вера. – И туда заявление писать?

– Не надо, – сказал капитан, – заявление мы сами передадим, прокуратура вон, напротив.

– Значит, не заберут их сегодня? – расстроилась мать.

– А когда заявление? – спросила Вера.

– Сейчас же и передадим.

– Мы, наверное, не так написали, – сказала мать. – Вы подскажите, мы перепишем...

– Ничего переписывать не надо. Возраст мы сами пометим.

– Нет, – сказала мать, – почему же вы не сами, почему же в прокуратуру? Вера ни в чем не виноватая, это они...

– Да поймите, – вздохнул капитан, – есть такое положение. Если в дело замешаны несовершеннолетние, то им занимается не милиция, а прокуратура. Беспокоиться тут нечего.

– Нет, – сказала мать, – как же так – без милиции?..

– Вы сейчас идите к врачам, – сказал капитан, – на экспертизу.

– Пошли, мама, – сказала Вера. – Ну что ты у людей отнимаешь время. Сказано тебе – займется прокуратура...

Мать все еще стояла в растерянности, прокуратура была для нее далеким и неясным учреждением, по всей вероятности незначительным и слабосильным, не имевшим погон и револьверов, которое уж никак не могло заменить милицию или сравниться с ней, а скорее всего было у милиции на побегушках и занималось делами, с точки зрения милиции, бросовыми и пустяковыми.

«Как же так...» – с жалостливой улыбкой, все еще на что-то надеясь, заговорила мать, но Вера сказала: «Пошли, пошли».

Пыткой был осмотр у врачей, хоть те и оказались людьми порядочными и добрыми и вроде даже верили ей и сочувствовали; сочувствие это вызвало вдруг в Вере ненависть к самой себе: ведь не кто иной, а она допустила такое, не смогла соблюсти себя, погубила себя, погубила свою жизнь, а может быть, и жизнь матери. И хотя врачи успокаивали ее напоследок и просили не отчаиваться, она уже не могла остановиться, казнила, казнила себя...

Солнце опалило их на улице, хотелось пить. Вера потянула мать к киоску прохладительных напитков, та шла за ней, вконец расстроенная.

– Ну что ты? – остановилась Вера.

– Плохо, дочка, – безнадежно сказала мать.

– Чего уж хорошего...

– Нет. Я насчет прокуратуры.

– Тут ты зря. Все едино – милиция, прокуратура...

– Не-е-ет, – протянула мать убежденно и взглянула на дочь с сожалением: неужели та не может понять столь очевидной вещи? – Нет. Тут что-то не так... Деньги небось надо было нести...

Но и в Никольском, и после того, как оперативники, или кто там они, осмотрели место происшествия и составили протокол, изменить мнение матери, что с милицией дело у них вышло плохо, Вера не смогла. Мать сникла, опять выглядела забитой и жалкой, страдала оттого, что непременно надо было хотя бы посоветоваться со знающими людьми, Монаховыми например, а потом уж ехать в город. Поначалу Вера старалась мать успокоить, объяснить ей ее заблуждение, но вскоре она поняла, что дело это безнадежное. Разговор в милиции опечалил и ее, но, естественно, не тем, чем опечалил мать, просто произошло то, чего боялась и ожидала Вера, – ее страдание и ее позор, ее погубленная жизнь превратились в дело, о котором говорили чужие люди и которому теперь исписанными листочками предстояло копиться в канцелярской папке. Эх, жизнь!..

8

Назавтра в Никольском появился следователь районной прокуратуры. Он и точно оказался Шаталовым, как и предполагали в милиции. То есть он и вчера был среди людей, приезжавших в Никольское, Вера даже говорила с ним, но ни ему самому и ни его вопросам Вера во вчерашних волнениях не придавала никакого значения. Теперь, после обеда, он пришел к Навашиным и Вере с матерью поначалу не понравился.

Был он уже не молод, но и недостаточно стар – лет этак тридцать пять, ну чуть больше – и, стало быть, не воевал. Отец еще в пору Вериного детства внушал ей, что среди взрослых только те стоящие и порядочные люди, которые воевали. Когда-то эту отцовскую истину Вера считала безусловной, теперь, естественно, она не могла относиться к ней серьезно и все же при знакомстве с новыми людьми по неискоренимой привычке прикидывала, воевали они с немцами или не воевали, а иногда, особенно когда это было ей выгодно или облегчало в сомнениях, позволяла себе верить в отцовский закон. Вот и нынче она сразу посчитала, что следователь на войне не был и, значит, особого доверия вызвать не может. По крайней мере, будь он серьезным человеком, он с утра пришел бы к Навашиным. А так небось ходил по поселку.

Одет следователь был в светлый импортный костюм с голубой искрой, а в руках держал черную гладкую папку. Он жаловался на жару и говорил, что предчувствует грозу: у него ломило ноги, и к тому же он слышал, что в прогнозе погоды по «Маяку» не обещали осадков. При этом следователь – звали его Виктором Сергеевичем – проводил ладонью по мокрому лбу и теребил пальцами жесткие белые волосы. Волос осталось у него на голове немного, острижены они были коротко и зачесаны вперед. Росту Виктор Сергеевич был среднего, широк в плечах и квадратен, шею имел короткую и, разговаривая, прижимал подбородок к груди, отчего казался обороняющимся, но и в то же время готовым ответить ударом на удар. Удивляли его вялая, вроде бы расслабленная, манера говорить и неожиданно тонкий для такого атлета голос. Тенор Виктора Сергеевича поначалу раздражал Веру и даже смешил ее, но потом Вера привыкла к нему.

Разговор Виктор Сергеевич вел неспешный, о заявлении Верином пока не напоминал, и Вера не могла понять, к чему он клонит и чего хочет от нее. Возможно, пока он лишь приглядывался к ней и проверял, стоит ли верить ей или нет. «Ну и пусть, – думала Вера, – ну и пусть, а мы тоже к нему приглядимся, что он за гусь». Мать сидела рядом тихо и мирно, хотя Вера и чувствовала, что следователь не нравится матери и расстраивает ее даже своим видом. Мать лишь иногда вступала в разговор, желая дополнить Верины слова, и все выходило невпопад.

Виктор Сергеевич интересовался, где и как Вера учится, что приходится ей делать на работе в Вознесенской больнице и сколько она получает, сколько вообще имеет средств их семья и как живет Верин отец на Дальнем Востоке. Многие вопросы казались Вере никчемными и досужими, но Вера отвечала на них терпеливо.

– Да, – сказал Виктор Сергеевич, – вот, знаете... Говорят, накануне вы подрались с подругой.

– Было такое, – сказала Вера.

– Из-за чего, можно узнать?

– Ни из-за чего. Так. По глупости.

– Ну хорошо, по глупости. Допустим. А дрались крепко?

– Не так чтобы очень.

– Говорят, и туфлями?

– И туфлями.

– А не остались ли после этой драки у вас на лице и на теле ссадины и синяки?

– Остались...

– Какие именно?

– Не знаю. Не помню.

– Угу, – сказал Виктор Сергеевич. – Это мы потом с вами уточним... А врачам почему вы не сказали об этой драке? Они тогда бы по-иному написали заключение.

– Не знаю почему. Меня никто не спрашивал. Я и не сказала.

Вера произнесла эти слова обиженно, усмотрев в напоминании о драке с Ниной недоверие к ней и ее ответам, она действительно не рассказала врачам и в милиции о драке, но без всякого умысла и корысти не рассказала, просто потому, что посчитала эпизод этот несущественным и вовсе не связанным с ее делом. Да и стыдно было рассказывать. Следовательно, видимо, имел по этому поводу свои соображения, может быть ошибочные и невыгодные для Веры, но он их не высказал, а вопросы прекратил. Это Веру насторожило и обидело. Кто ж, интересно, наболтал ему про эту драку и какими словами? Могли ведь и наврать, да еще и расцветить ложь никольскими фантазиями.

– Вы не думайте, – сказала Вера, – ничего лишнего я не хочу никому приписать. Поругались мы с Ниной, и синяки были. Ну и что? Разве это меняет дело?

– Нет, – сказал Виктор Сергеевич. – Просто мне надо знать все обстоятельства. Вам уж придется привыкнуть к моему интересу. Ничего не поделаешь.

– Да нет, мы ничего, – вступила мать.

– Знаете что, – улыбнулся Виктор Сергеевич и пальцами вновь провел по мокрому лбу, – не откажите в любезности... водички какой-нибудь, а то ужарел совсем.

– Квас у нас есть, – обрадовалась мать, – свой, правда, не покупной. Если не побрезгуете...

– Ну отчего же...

– Вера, сбегай в погреб, принеси.

– Ну вот, я вам хлопоты причиняю, – огорчился Виктор Сергеевич.

Бежать Вера не побежала, пошла за квасом намеренно степенно, давая следовательно понять, что просьбу его она выполняет без особой охоты и что вообще они, Навашины, люди гордые. Веру раздражала суета матери, ее унижительное старание оказать на всякий случай любезности малоприятному гостю, – впрочем, какому гостю? – так, должностному лицу, которое могло бы и не тратить свое драгоценное время на дальнюю дорогу, а опросить потерпевшую в служебном кабинете. Пока Вера ходила, следовательно все извинялся перед Настасьей Степановной за доставленные хлопоты, просил вернуть Веру, если бы он знал, что хозяевам придется беспокоиться, он бы и не заикнулся о воде. Но когда Вера принесла запотевшую трехлитровую банку, он не стал отказываться от кваса, а принялся пить его стакан за стаканом, да притом делал это так аппетитно и шумно, ухая от удовольствия, словно бы хлебный напиток помогал ему ощутить полноту жизни. Вера заулыбалась: «Вот дает, как рассол с похмелья...»

– Прекрасный квас, – сказал Виктор Сергеевич.

– Пейте, пейте на здоровье, – радовалась мать.

– Спасибо, хватит. Как вы его готовите? Наверное, покупаете экстракт?

– Нет, из ржанных сухарей.

– А то вот сейчас экстракт хороший продается...

– Вы дома тоже делаете квас? – спросила мать.

– Нет. Вы знаете, – засмеялся Виктор Сергеевич, – нас, мужчин, больше пиво волнует!

– У нас пива нет, – развела руками Настасья Степановна, расстроилась, будто допустила губительную оплошность, которую теперь уж и не исправишь. – Кабы мы знали...

– Нет, вы меня не так поняли, – нахмурился Виктор Сергеевич и еще сильнее прижал подбородок к груди.

Теперь он сидел молча и теребил пальцами жесткие белые волосы надо лбом. Вера держала в руке стакан и отпивала квас глоточками, словно это был кипяток.

– Вы, Вера, на самом деле, – сказал Виктор Сергеевич, – не обижайтесь на мои вопросы. У меня профессия такая. Вы уж терпите.

– А я терплю, – сказала Вера.

– Ну вот и ладно. А то я еще один вопрос приготовил, а спросить не решаюсь. Про одно деликатное обстоятельство... Можно спросить?

Тут Виктор Сергеевич остановился и посмотрел на Веру своими голубыми глазами, и в них Вера почуяла намек: мол, сами знаете, какие такие деликатные обстоятельства, и если не хотите сейчас говорить про них, так и не надо. Намек Вера не поняла, пожала плечами, сказала:

– Если надо, так спрашивайте.

– Мне в Никольском уже пришлось кое-что услышать. Возможно, что многое из того, что я услышал, сплетни и так, пустое... Но одну вещь мне хотелось бы уточнить. Слышал я, что вы находитесь... как бы это сказать... находитесь в близких отношениях с неким Сергеем Ржевцевым. Так ли это?

Вера вспыхнула, поставила стакан, покосилась на мать.

– Ну и что? – сказала Вера угрюмо. – Я дружу с Сергеем... Ну и что из этого? Кто вам чего наболтал?.. Я с ним дружу... Ну и что из этого?

– Ничего, – сказал Виктор Сергеевич.

Он видел, как Верин испуганный взгляд метнулся в сторону матери и как насторожилась, утеряла вежливую улыбку Настасья Степановна, он видел это и, замолчав, опять прижал подбородок к груди. Настасья Степановна теперь смотрела на дочь и ждала от нее объяснений, и следовательно со своими вопросами ее не интересовал, то есть интересовал, но как некое подсобное средство, которое могло бы прояснить неизвестные ей стороны жизни дочери. Вера же сидела воинственная и надувшаяся.

– И все же, Вера, вы обязаны мне ответить, – строго сказал Виктор Сергеевич, – была ли у вас с Сергеем Ржевцевым половая связь?

– Да! Я жила с ним! – с вызовом выговорила Вера. – Ну и что?

– Ладно... А какого числа вы родились? – спросил Виктор Сергеевич.

– В декабре, семнадцатого числа, – сказала Вера. – Была холодная погода и еще что-то было. Дождь не шел.

– Угу, – кивнул Виктор Сергеевич, не оценив ее дерзости.

Потом он еще что-то спрашивал, о каких-то пустяках, говорил опять вяло, словно стараясь успокоить Веру, а она не успокаивалась, думала о Сергее и о том, что о ней судачат сейчас в Никольском, досадовала, что сказала: «Я дружу с Сергеем», может быть, сглазила их с Сергеем отношения, надо было сказать: «Я дружила с Сергеем до вчерашнего дня»; она боялась новых вопросов о Сергее, но и хотела, чтобы следовательно спрашивал ее о нем.

– Ну хватит на сегодня, – сказал Виктор Сергеевич. – Остается мне составить протокол, а вы прочтите и подпишите.

Когда Настасья Степановна подписала протокол, он встал, и лицо у него было такое, что неизвестно еще, кто кому надоел, он ли Навашиным или Навашины ему. Папку свою из гладкого черного кожзаменителя с незастегнутой «молнией» он взял со стола неаккуратно, и из нее на пол посыпались бумаги, ни одной из которых во время разговора Виктор Сергеевич не вытаскивал. «Вот черт!» – проворчал Виктор Сергеевич и неуклюже присел к своим бумажкам, стал запихивать их в папку. Вера не сдвинулась с места, а мать тут же нагнулась в ретивом стремлении помочь. «Ну что вы, Настасья Степановна, я уж сам, я сам!»

Потом Виктор Сергеевич долго стоял у двери, не говоря ни слова и как бы вспоминая, все ли он задал вопросы и все ли поднял бумаги.

Вера с матерью проводили Виктора Сергеевича до калитки, руку ему пожали, обменялись вежливыми словами.

– Вот уж, – сказала мать, вернувшись в комнату, – как одно началось, так все и пойдет.

– Что? – рассеянно спросила Вера.

– Непутевый следователь-то. Хитрый не хитрый, а непутевый.

– Откуда ты сразу поняла?

– Сразу-то и поймешь...

– Брось ты это.

– Я тебе вот что скажу. В милицию мы опоздали. Там уж побывал кто-то до нас. Может, от Колокольниковых, может, от Чистяковых. И с деньгами. Вот и сунули тебя в прокуратуру, и следователя подобрали на ихнюю сторону...

– Опять ты за свое.

– А за чье же, как не за свое! К нам он явился только к вечеру, а с утра облазил Никольское да все, что ему хотелось, повыспросил.

– Напрасно ты...

– Что ж я, слепая, что ли, или еще какая? Я вижу... А ведь ему такое могли навыдумать... Одних Монаховых возьми. Или Чугуновых. Или Творожиху!

– Мне бояться нечего. Я не виновата.

– Виновата не виновата, а так все повернут, так ославят! Им своих защищать надо...

– Мать, я тебя прошу, давай кончим думать об этом следователе. Ну его к лешему. Хуже, чем есть, мне не будет. Выкарабкаемся как-нибудь. Главное – нам с тобой живыми быть. И здоровыми. Ты меня поняла?

– Поняла, – печально сказала мать.

Потом она спросила:

– Может, отцу написать?

– О чем?

– О тебе. Может, приедет или поможет. Он хотя и беспутный, но деловой...

– Не надо, – нахмурилась Вера. – Нечего унижаться. Слушай, мне эти разговоры надоели. Хватит мне следователя. Я ни в чем не виноватая, и мне на все наплевать. А как тех накажут, посмотрим, спешить некуда. И хватит. Нервы побереги, поняла? И давай перекусим. Девки под окном как голодные кошки ходят...

Мать проворчала что-то в ответ, может быть, Верин резкий тон обидел ее, но спорить она не стала, а вздохнув, пошла на кухню. Жара томила по-прежнему, грозовая туча, обещанная следователем, так и не явилась. Ужинали молча, и младшие сестры молчали, даже Надька, хоть она и ерзала нетерпеливо на стуле и поглядывала со значением на Веру с матерью, будто знала то, о чем они не знали, однако побаивалась открыть рот – вдруг старшая сестра своей тяжелой рукой оборвет ее высказывания. В глазах Надьки были ехидинки, и Вера понимала, что Надька слышала какой-нибудь разговор про нее, но расспросить младшую сестру следовало где-нибудь наедине.

9

Вера, стараясь успокоить мать, в конце концов и себя убедила в том, что следователь не такой уж плохой человек, и никто его не подкупал, не натравливал на нее, просто разговор у него с ней был предварительный, несерьезный, ради знакомства, а главное и существенное Виктор Сергеевич скажет ей у себя в кабинете, куда он обещал ее в скором времени вызвать. И все же неприятный осадок остался на душе у Веры, особенно от вопроса об их отношениях с Сергеем, и, чтобы освободиться от него вовсе, Вера упрашивала себя забыть о следствии и суде, а думать о матери и ее здоровье и о Сергее.

Она теперь не знала, чего ей хочется – явился бы Сергей в их дом сейчас же или пусть он задержится в Чекалине еще на месяц. И того, и другого она боялась. По ее подсчетам выходило, что Сергей должен вернуться из командировки завтра. Но наступило завтра, а Сергей не приехал.

Не дождавшись его, Вера сказала себе с отчаянием: «Ну и пусть, ну и ладно, и без него проживем, если уж у него нет совести. Хоть бы он мне на глаза не попался теперь» – и отправилась в город. Ей надо было в поликлинику, на процедуры и на укол, а главное – попасть к врачам, смотревшим мать, и вызнать у них все.

Она побывала у онколога, у других врачей, волновалась перед их кабинетами, ожидая приема, дрожала и, несмотря на свою сознательность, готова была молиться, чтобы у матери не было страшного. Врачи ее немного успокоили, сказали, что они ничего не утаили от матери, а какого свойства опухоль, покажет гистологический анализ, они надеются, что анализ будет хороший («На плохой, что ль, им надеяться!»), но операцию следует делать в любом случае, и Вера, как будущий медик, должна это понять. «Да, конечно», – кивнула Вера. Здоровье матери вообще нашли не ахти каким – и сердце, и сосуды, и нервы, – и Вере («Отец с вами не живет, да?»), как человеку уже взрослому и вставшему на ноги, нужно было стараться, чтобы жизнь матери шла сытая и спокойная. «Да, да, я понимаю», – сказала Вера.

На улице она снова жалела мать и кляла себя, обещала уберечь мать от любых волнений. «Выросла скотина, – казнила она себя, – скотина и есть. Муж у матери хорош попался, а теперь и дочка выросла!..» Сейчас она сама подумала, не написать ли отцу в Шкотово, не упросить ли его со слезами вернуться ради матери и младших дочек, но тут же решила, что и вправду не стоит унижаться, да и вряд ли бы возвращение отца сделало жизнь Навашиных благополучной. В Никольском долго гадали, отчего это человек надумал завербоваться куда-то на Тихий океан, в дыру, провонявшую рыбой, да еще и из сытого поселка, что у столицы под теплым боком. Почти из самой Москвы. Длинный рубль в расчет не брался, потому как и на месте при желании можно было иметь любые деньги. Посчитали, что Навашин, мужик в самом соку, просто-напросто сбежал от жены, поскольку она женщина стала уже никакая. Якобы спьяну он болтал так одному из своих приятелей, и слов этих, возможно и приписанных ему, но вполне вероятных, Вера не могла простить отцу. Разводиться он не стал, может, по лени, а скорей всего, чтобы при нужде было к кому вернуться в Подмосковье. Дочерей он, видимо, любил и скучал по ним, но деньги посылал не по правилам, редко был щедрым, а подавать на него в суд мать по доброте своей не хотела. Наверняка были теперь у него в Шкотове женщины или одна постоянная баба, хитрая или, как мать, несчастная, и писать ему о тяжком положении матери и ее болезнях было бы сейчас нехорошо, унижительно и даже стыдно. Вера не хотела сообщать отцу про свою беду, не желала ни сочувствия его, ни совета, она вообще не хотела, чтобы он узнал о случившемся. Они жили кое-как без него, проживут без него и теперь.

Сергей так и не появлялся. Вера сидела дома. Продукты мать закупала сама, видно стараясь уберечь дочь от появлений на людях и лишних разговоров, и Вера не противилась

ее старанию, хотя и обещала себе не избегать никольских жителей и не бояться их пересудов. Дома было одно и то же – книги, телевизор, кухня, стирка, хлопоты на огороде, – и Вера неожиданно для самой себя заскучала по Вознесенской больнице, красностенной, похожей на крепость, и по своей несладкой службе санитарки.

Она представляла, как сердилась и расстраивалась Тамара Федоровна, главный врач Вериного отделения, узнав, что Навашиной нет на месте, а потом, когда Нина ездила в Вознесенское и рассказала о Вериной болезни, с какой неохотой поставила в Верину смену Нюрку Слегину. Нюрка относилась к своему делу цинично, нянечкой работала без году неделю, а уже набралась, как говорила Тамара Федоровна, равнодушия. Нюрка Слегина вела себя нагло, знала, что медперсонала в больнице не хватает и никто ее не уволит, не боялась даже врачей и выказывала себя чуть ли не главным человеком в отделении. Впрочем, врачей-то она не боялась, зато боялась Веру, та могла ее и высмеять, и осрамить при народе. Поэтому сейчас вряд ли для Вериных больных, особенно для тех, кого она привечала на Нюркиных глазах, наступили лучшие дни.

Хотя ей-то, говорила Вера себе, что теперь до этого... И все же она думала о том, что Нюрка наверняка обижает сейчас безответного тихоню Федотова, контуженного под Клайпедой, к которому каждое воскресенье, пренебрегая мытарствами в электричках и автобусах, добиралась из Мытищ с дешевенькими гостинцами в авоське мать, семидесятилетняя старушка, – при виде ее глаза у Веры становились влажными, Федотову нужны особые слова и ласковые руки, а Нюрке что он, что другие больные – уже и не люди вовсе, а так, чокнутые, психи, которых все равно не вылечишь. Да разве Нюрка закупит все как надо в Вознесенском гастрономе, куда санитарки и нянечки отправлялись каждый день в мертвый час с наволочкой и списком заказов больных на клочках бумаги... Небось Флорентьеву она возьмет «Прибой» вместо обязательного «Беломора», а Григоровичу забудет варенье. И, наверное, в пятой палате не сменит белье, раз уж она, Вера, не успела этого сделать. Да и рубли с больных потянет.

Вера понимала, что, может, и не Нюрка подменяет ее сейчас и, может, она преувеличивает Нюркины пороки, и тем не менее мысли о больнице текли в прежнем русле – Вере все представлялось, как там безобразничает без нее Нюрка. Вера никак не могла признаться самой себе в том, что она скучает по Вознесенской больнице и по своей службе и что вообще она, видимо, любит эту больницу и ее людей. Вера ругала Нюрку и этим как бы признавала, что без нее, Веры Навашиной, ее больным сейчас, наверное, живется хуже. А значит, что-то у нее получается, и это хорошо.

Даже Нине, навещавшей ее, Вера принималась рассказывать о своей больнице, чего раньше никогда не делала. Расспрашивала она о подробностях Нинино визита в Вознесенское, что она там видела, с кем говорила и как ей понравилась Тамара Федоровна. Чувство нахлынувшей любви к больнице и своему делу удивляло Веру, но и радовало ее, обнадеживая неким просветом в будущей мрачной жизни.

Нина приходила к ней, как всегда, ладная, ухоженная, одетая будто в театр, приносила новости. Мать на Верины вопросы отвечала односложно, у сестер Вера и не желала ничего выпытывать, а Нина все знала, умолчать же о чем-либо было выше ее сил.

– Рожнов, говорят, ходит в военкомат. Просит, чтобы его срочно забрали в армию. Он-то единственный совершеннолетний...

– Этот сбежит... Кого хочешь обдурит...

– Никуда не сбежит, – категорически говорила Нина. – Сейчас на них характеристики оформляют.

– Соседи, что ли?

– Ну да, соседи. На Колокольникова, скажем, сочинит Творожиха.

– Она неграмотная.

– Это я так, к примеру... Ну и что – неграмотная. У них соберется военный семейный совет. И Творожиха, конечно, подаст голос из угла, как выручить ребеночка, а тебя очернить...

– Неужели так все и за них?

– Ну что ты! И родители-то их волками смотрят на своих парней. Но ведь жалко. Всех жалко. И тебя жалко. И их. Ведь посадят. Жалко.

– Тебе тоже, что ли, их жалко?

– Могла бы и не спрашивать. Но вообще-то я жалостливая... А есть в Никольском которые и против тебя. Есть. Кому твой папаша насолил, кто считает, что все зло от баб, кто просто так.

– А мне на них наплевать, поняла?

– Чего ты на меня-то злишься!

Вера сердилась, однако, не на Нину. Хотя она и убеждала Нину с матерью и себя саму, что ее нисколько не волнуют разговоры никольских жителей, они ее волновали, и Вера, стараясь показать, что все высказывания о ней соседей, знакомых и малознакомых она принимает с безразличием и даже с презрением, все же выспрашивала Нину, кто и что о ней говорит.

Каждый раз Вера ждала, что Нина скажет ей про Сергея, и каждый раз боялась этого. Вдруг кто-нибудь видел Сергея в Никольском, или в городе, или в электричке... Вдруг он уже вернулся из Чекалина, узнал о случившемся и не желает появляться в Никольском... Нет, Нина Сергея не видела и ничего не слышала о нем, она, как и Вера, была удивлена его задержке, – наверное, чего-нибудь недоделали, не поставили по забывчивости пять столбов, аврал в последнюю минуту, и еще предложат остаться на месяц в Чекалине. «Может быть, может быть», – кивала Вера.

Забегали и другие девчонки, приятельницы по школе и соседки, сочувствовали или просто болтали, но никто из них не радовал своим приходом так, как Нина. «Хорошая она все-таки у меня, – думала Вера о ней с теплотой, – добрая и хорошая». По-прежнему Нина удивляла ее своими нарядами, новыми чуть ли не каждый день. Вера знала, что денег у Нины с матерью немного, а вот из ничего, из старого и из дешевого, Нина умела шить такие платья, блузки и юбки, что Вера чувствовала себя рядом с ней замарашкой. Нина была прежней, но и как будто бы иной, изменившейся или, быть может, в чем-то изменившей себе. Порой Нина смотрела рассеянно в пустоту, думала о своем, а в глазах ее молчала печаль и жалость – к кому, неизвестно, возможно, к Вере, а возможно, и к себе самой. Нина ни разу не предложила подруге съездить в Москву – развлечься на демонстрации польских мод, или посидеть в кино, или просто пройтись знакомыми магазинами. Вера отказалась бы, но Нина ни о чем таком разговор и не завела, удивив Веру. «А впрочем, мне-то что, – подумала Вера, – мое-то дело конченное...»

10

Но ведь могло с Сергеем и что-нибудь случиться.

Вряд ли, говорила себе Вера. Что уж там с ним такое может стрястись? С ней – да, стряслось. И она не Нина. Это только в Нининой сентиментальной голове могли бы появиться мысли о том, что если с ней случилось несчастье, то уж и на любимого ею человека в ста двадцати километрах от Никольского в ту же самую минуту непременно упадет кирпич. Вера же полагала, что, наоборот, раз уж у нее беда, то, значит, у Сергея все обстоит хорошо. Так она успокаивала себя, упрасивала перестать думать о Сергее, перестать ревновать его неизвестно к кому или к чему, перестать бояться того, что с приездом Сергея все изменится к худшему в ее жизни, но и не надеяться на хорошее. Спокойствие и благополучие дома, жизнь и болезнь матери, считала Вера, зависели только от нее одной. Вера рвалась уже на работу, уколы она и сама могла делать себе, велика задача, она ведь училась на медсестру и колола в Никольском больных. На работе она собиралась поговорить с хорошими врачами о матери, а в случае нужды и достать в больнице редкие импортные лекарства.

И она отправилась в город с намерением закрыть больничный лист. Ей казалось, что она чувствует себя лучше, боли меньше беспокоили ее, а может, она с ними и свыклась. Вера зашла и к врачам матери. Ее тревожило то, что мать готова была потянуть с операцией – то ли из-за страха перед ней, то ли желая дождаться дня, когда дело старшей дочери получит наконец ясный и положительный ход.

Врачи о матери не забыли, она стояла у них в очереди, но место для нее пока не освободилось. Вера вслух поворчала, однако известие это ее неожиданно обрадовало. Больничный лист Вере не закрыли, сказали: «Не спешите, не спешите...»

– Как же «не спешите»! – расстроилась Вера. – Легко сказать «не спешите»!

Она побрела по городу, по скучным его улицам, горбатым и коротким, не зная, куда податься и на что взглянуть, сразу же возвращаться в Никольское не хотелось. Тоскливо ей было. Город походил сейчас на проходной двор или, вернее, на проезжий двор, если такие существовали. Шуму, суеты и бензинного духа в нем было больше, чем в Москве, да только там суета и шум радовали. Когда-то... Тесное государственное шоссе давно уже отвели подальше от города, в березовые рощи и картофельные поля, у северных и южных застав для проезжих водителей повесили плоские кирпичи на черных орудовских сковородках, а все равно в городе тише и спокойней не стало. По-прежнему отовсюду неслись машины, все больше грузовые, потрепанные и свеженькие, лихие и флегматичные, гремели, дребезжали, норовили проскочить на желтый свет, действовали соседям и пешеходам на нервы. А уж Вере все действовало сейчас на нервы. Толпа, еще несколько дней назад радовавшая Веру, опьянявшая ее, сейчас угнетала, и Вера дважды давала выход своему раздражению, громко и обидно обругав рассеянных деревенских теток, налетевших на нее. Все же, по невытравленной еще привычке, она зашла в кое-какие магазины и даже постояла у прилавков без цели и необходимости, а просто так. В конце концов толпа завлекла ее в знакомый магазин галантереи, и в отделе белья на несколько минут Вера застыла перед чудесным немецким гарнитуром за сорок пять рублей. Когда она, расстроенная прозрачным, с кружевами видением, выбралась на улицу, у нее чуть не отнялись ноги.

По той стороне шел Сергей.

Она сначала почувствовала, что Сергей где-то рядом, а потом уже увидела его.

Он шел один, то есть он шел в толпе, но он был сам по себе, ни с каким приятелем, ни с какой женщиной, шагал не спеша и как бы рассеянно, наклонив голову, и казался Вере обиженным или расстроенным. Он был в голубоватой нейлоновой финской рубашке, которую Вера однажды стирала, а перед самым отъездом Сергея в Чекалин пришила к ней пуговицу,

вторую снизу, хотя Сергей и говорил, что такой пустяк он может сделать и сам. Галстук по нынешней моде – широкий и короткий, с толстым узлом – Сергея, видимо, тяготил, и он отпустил узел, а пуговицу расстегнул.

– Господи, Сергей... – шептала Вера, стояла остолбеневшая, думала о том, что ей непременно тут же надо исчезнуть, убежать, улететь, но, как во сне, не могла сдвинуться с места. Она знала, что сейчас Сергей поднимет голову, остановится и увидит ее, не сможет не увидеть ее, она боялась этого, а Сергей так и не взглянул в ее сторону. «Надо бежать, бежать, пока он меня не заметил», – говорила она себе, но понимала, что, если бросится бежать, тогда уж Сергей точно обратит на нее внимание и узнает ее, не помешает ему ее жалкая маскировка – монашеский платок и черные очки, прикрывшие синяки. И все же она сдвинулась с места, пошла от двери галантерейного магазина тихим шагом, напряженная, прямая, ничего не видела, сердце ее стучало, а ноги подгибались, но надо было идти, надо было дойти, добрести до первого угла, до первого спасительного переулка... Она прошла метров сто до стеклянных витрин булочной с запыленными кренделями и ситниками, оставалось пять шагов до поворота, и тут она чуть было не смалодушничала, чуть было не нырнула в дверь булочной и все же, победив искушение, добрела до Калужской улицы и, свернув за угол, бросилась бежать прямо по мостовой. Она пронеслась добрую половину улицы, пустую на ее счастье, обернулась и увидела, что никто за ней не гонится и никто не просит ее вернуться. Она остановилась, прислонилась к корявому невысокому тополи и заплакала.

– Тетенька, вы чего? – Мальчишка на самокате подъехал с интересом.

– Ничего, – сказала Вера. – Поезжай откуда приехал.

Она снова посмотрела в сторону булочной и, никого там не увидев, пошла к вокзалу, спешила, боялась упустить электричку, говорила себе: «Скорее, скорее в Никольское, домой, домой!»

А почему обязательно домой, почему нельзя было подойти к Сергею – этого она не могла объяснить себе; впрочем, она и не задумывалась – почему, она просто сбегала... В электричке она все вспоминала, как она сначала почувствовала, что Сергей рядом, а уж только потом увидела его. И теперь ее удивляло то, что Сергей не заметил ее, ведь он была в двадцати метрах, через дорогу, и не только не заметил, а даже и не почувствовал ее присутствия, не вздрогнул, не остановился, ничто его не толкнуло, когда она вышла из магазина. Это ее не только удивляло, но и удручало, она просто не могла понять, как это она его ощутила – шестым, седьмым или каким там, но уж непременно самым главным чувством, а он вовсе не ощутил ее присутствия, будто бы она была для него неживым предметом. Он не побежал за ней. Да и зачем ему было бежать? «Значит, он не любит меня», – решила Вера.

Не то что не любит, но и вообще, видно, она ему безразлична, если он ее не почувствовал. Она ведь не смогла его не почувствовать. Так размышляла Вера в электричке, мучилась, и хотя и говорила себе: «Ну и пусть, ну и подумаешь!» – успокоиться не могла, готова была не ждать автобуса, а бежать, бежать домой, не стыдясь встречных, по унылой никольской дороге с горькими голубыми цветами цикория у пыльных обочин.

Но автобус был уже на остановке, за десять минут довез до места. Дом стоял пустой, мать ушла на фабрику, безнадзорная Надька гуляла где-то, а Соню Вера, глянув в окно, увидела на огороде у дальнего забора. Там росли помидоры, благо вокруг не было деревьев и ничто не мешало солнцу, там же частью были посажены и огурцы, и теперь Соня поливала их. Когда-то отец то ли с перепоею, то ли просто так, от непонятного ему самому душевного зуда, принимался за домашние дела и по несколько дней трудился на огороде; в один из таких приступов хозяйственной озабоченности он прикрутил к водопроводному крану резиновый шланг, плохо где-то лежавший или выменянный на четвертинку. Клумбы и ближние гряды поливали из шланга, до дальних его струя не долетала, приходилось носить лейки и ведра. Соня и мучилась сейчас на жаре с лейкой – может, мать попросила полить ее огурцы,

а может быть, надумала сама. Росла она работающая и совестливая, к жизни и ее заботам, как и мать, относилась всерьез. Глядя на Сонину напряженную худенькую фигурку, Вера снова почувствовала, как она любит Соню и как ей жалко среднюю сестру. Хотя Вере и было не велено поднимать тяжести, она непременно бы подсобила Соне, но сейчас, после поездки в город, ей не хотелось выходить из дома, даже во двор. Она крикнула в окно сестре:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.